

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

Победивший дракона



Немецкая классика
в переводах Владимира Летучего

Магистраль. Главный тренд

Райнер Мария Рильке
Победивший дракона

«ЭКСМО»

1902-1910

УДК 821.112.2-82(436)

ББК 84(4Авс)я44

Рильке Р.

Победивший дракона / Р. Рильке — «Эксмо»,
1902-1910 — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-196652-2

«Кто ж ты все-таки, Райнер? Не немец, хотя — целая Германия! Не чех, хотя родился в Чехии (NB! в стране, которой еще не было, — это подходит!), не австриец, потому что Австрия была, а ты — будешь! Ну не чудесно ли? У тебя — нет родины!» — писала Райнеру Марии Рильке Марина Цветаева. Но Родина у поэта всё-таки была: не только та неизреченная и вечная область бытия, к познанию которой издревле стремится поэзия, но и отцветающая старая Европа, в которой сошлись «весь цвет, вся гниль Империй». Влюбленный в Россию, нежный, надломленный и страстный, Райнер Мария Рильке стал одним из важнейших поэтов XX века. Коллекцию «Немецкая классика в переводах Владимира Летучего» открывает сборник блистательной прозы Рильке — от романа «Записки Мальте Лауридса Бригге» до прозо-стихов и напоминающих печальные притчи «Историй о любимом Боге».

УДК 821.112.2-82(436)

ББК 84(4Авс)я44

ISBN 978-5-04-196652-2

© Рильке Р., 1902-1910

© Эксмо, 1902-1910

Содержание

Записки Мальте Лауридса Бригге	6
Конец ознакомительного фрагмента.	49

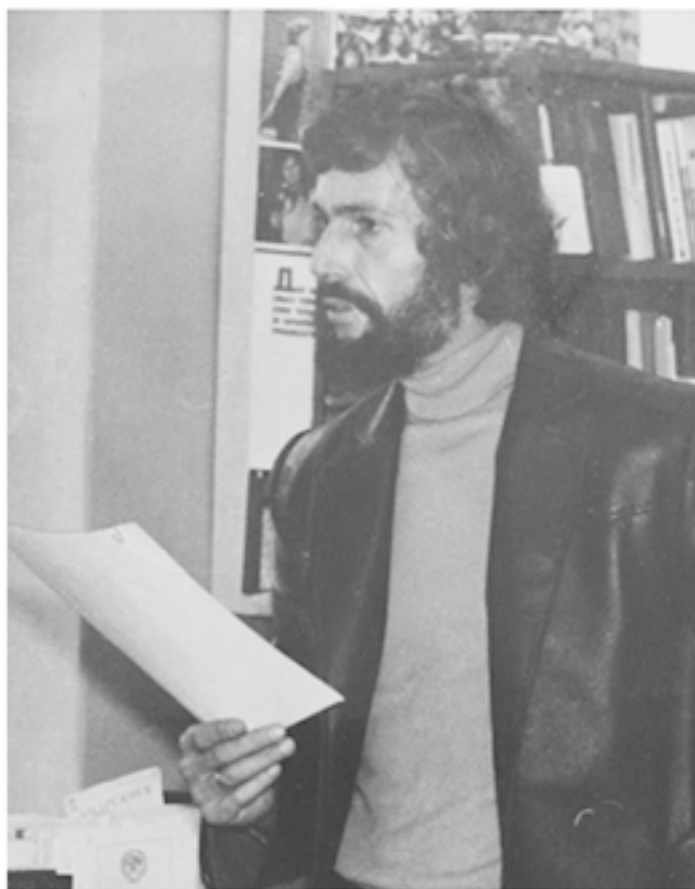
Райнер Мария Рильке Победивший дракона

Фотография Владимира Летучего на авантитуле – из архива *Г. В. Бонч-Бруевич*

© Летучий В. М., наследники, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.



A handwritten signature in cursive script, which appears to read "R. Rilke".

Записки Мальте Лауридса Бригге

I

11 сентября, rue Toullier¹

Итак, люди сюда устремляются, чтобы жить, я бы скорее предположил – чтобы здесь умереть. Я вышел на улицу. Видел: больницы, больницы. Видел человека: он вдруг зашатался и упал. Люди столпились вокруг него, не знаю, чем все закончилось. Видел беременную женщину. Она тяжело передвигалась вдоль высокой теплой стены и перебирала иногда по ней руками, как бы желая убедиться, что она, стена, еще стоит. Да, стена еще стояла. А что за ней? Поискал на моем плане города: Maison d'Accouchement². Хорошо. Ее разрешат от бремени – это могут. Дальше – rue Saint-Jacques³, громадное здание с куполом. На плане обозначено: Val-de-grâce, Hôpital militaire⁴. Мне, собственно, это знать ни к чему, но – на всякий случай. В переулочек со всех сторон тянулись запахи. Пахло, насколько можно различить, йодоформом, пригаром жареного картофеля, страхом. Все города летом пахнут. Потом я увидел странный, с катарактными окнами дом; на плане не мог его найти, но над дверью еще можно было разобрать: Asyle de nuit⁵. При входе указаны цены. Прикинул: недорого.

А еще что? Ребенок в детской коляске: толстый, зеленоватый, с отчетливой сыпью на лбу. По-видимому, она уже подживала и не причиняла боли. Ребенок спал, рот был открыт, дыша йодоформом, пригаром жареного картофеля и страхом. Таким все представилось. Главное – выжить. И это – главное.

* * *

Никак не отвыкну спать при открытом окне. Трамваи, звеня, проносятся сквозь мою комнату. Автомобили проезжают через меня. Хлопает дверь. Где-то падает, разбиваясь, стекло. Я слышу, как большие осколки заливаются смехом, мелкая дребезга хихикает. Потом – и вдруг – глухой, замкнутый шум с другой стороны, внутри дома. Кто-то поднимается по лестнице. Все ближе и ближе, не останавливаясь. Он уже тут, долго стоит – и идет дальше. И снова – улица. Девушка кричит, надрываясь: «Ah, tais-toi, je ne veux plus»⁶. Трамвай взволнованно обо что-то с разбега ударяется, переезжает через, и дальше – через все. Кто-то кого-то зовет. Люди бегут, обгоняя друг друга. Лает собака. Какое все-таки облегчение – собака. Под утро даже кукарекает петух, и это – отрада без границ. И я – вдруг – засыпаю.

* * *

Это – шумы. Но здесь есть и то, что, может быть, страшнее: тишина. Я думаю, при больших пожарах иногда наступает такой момент самого крайнего напряжения, водяные струи спадают, пожарные больше не карабкаются, никто не шевельнется. Сверху беззвучно сдвигается

¹ Улица Тулье в Латинском квартале Парижа, где Рильке поселился в гостинице в 1902 г. – *Здесь и далее – примеч. перев.*

² Родильный дом (фр.).

³ Улица Сен-Жак в Латинском квартале.

⁴ *Букв.:* «Долина милосердия» (фр.) – монастырь и военный госпиталь.

⁵ Ночной приют, ночлежка (фр.).

⁶ Да замолчи ты, с меня хватит (фр.).

черный карниз, и высокая стена, позади которой полыхает огонь, наклоняется – беззвучно. Все стоит и ждет с высоко поднятыми плечами, сморщив над глазами лбы, – ждет страшного удара. Такая здесь тишина.

* * *

Я учусь видеть. Не знаю, как это получается; все входит в меня глубже и не застревает на том месте, где раньше всегда и заканчивалось. Есть нечто внутри меня скрытое, и о нем я ничего не знал. Теперь все уходит туда. Я не знаю, что происходит там.

Сегодня писал письмо, и мне показалось странным, что я нахожусь здесь всего-навсего три недели. Три недели где-нибудь, например в деревне, могли бы промелькнуть как один день, здесь это – годы. Не хочу больше писать никаких писем. Зачем мне кому-то говорить, что я изменяюсь? Если изменяюсь, я не остаюсь тем же, кем был, и хоть немного, но уже другой, чем до сих пор; выходит, что у меня уже нет никого, кто меня знал бы, а чужим людям, которые меня не знают, я писать не в состоянии.

* * *

Говорил ли я уже об этом? Я учусь видеть. Да, начинаю. Это еще плохо получается. Но я хочу мое время заставить работать на себя.

Например, до моего сознания никогда не доходило, как много бывает лиц. Людей масса, но лиц еще больше, так как у каждого человека по нескольку лиц. Есть люди, которые годами носят одно и то же лицо, конечно, оно изнашивается, пачкается, протирается на складках, оно растягивается, как перчатки за время долгого путешествия. Это экономные, простые люди; они свое лицо не меняют, они его даже не подновляют. Оно достаточно хорошее, утверждают они, и кто может им доказать противоположное? Теперь спросите-ка себя: раз у каждого по нескольку лиц, что они делают с остальными? Они их берегают. Пригодятся, мол, когда придет срок, детям. Но бывает и так, что с ними выходят гулять их собственные собаки. А почему бы и нет? Лицо есть лицо.

Иные люди до неприятного быстро меняют свои лица, одно за другим, и быстро изнашивают их. Сначала им кажется, что лиц им хватит на всю жизнь, но им едва стукнуло сорок, а они уже донашивают последнее. В этом, естественно, свой трагизм. Они, эти люди, не привыкли беречь свои лица; последнее лицо через восемь дней протирается тут и там до дыр, во многих местах уже тонкое, как бумага, и тогда мало-помалу обнаруживается подкладка, нелицо, – и они так и расхаживают.

Но эта женщина, эта женщина: она совсем запала в себя, уткнувшись в свои ладони. Это случилось на углу rue Notre-Dame-des-Champs⁷. Я замедлил шаги, как только ее увидел. Когда бедные люди размышляют, им не надо мешать. Может быть, их все же осенит.

Улица была совсем пуста, ее пустота от скуки выхватывала у меня из-под ног шаги и постукивала ими вокруг, на той стороне и здесь, – как деревянными башмаками. Женщина испугалась и рванулась из себя – слишком быстро, слишком резко, так, что лицо осталось у нее в ладонях. Оно лежало там, я видел, – полый изнанкой наружу. Мне стоило неописуемых усилий оставаться возле этих рук и не взглянуть на то, что из них вырвалось. Мне было страшно видеть лицо изнутри, но еще больше меня пугала оголенная и похожая на рану голова без лица.

⁷ Улица Нотр-Дам де Шан в центре Парижа, рядом с Люксембургским садом.

* * *

Мне страшно. Со страхом нужно что-то делать, если уж однажды он возник. Было бы очень скверно, если я здесь заболею и кому-нибудь придет в голову поместить меня в Hôtel-Dieu⁸: там я уж точно помру. Этот Hôtel, комфортабельней некуда Hôtel, чудовищно неведанный. Едва ли можно заглядеться на фасад кафедрального собора Парижа, не опасаясь, что тебя переедет повозка, одна из тех многих, что на большой скорости проносятся в лечебницу по свободной площади. Это небольшие омнибусы, они непрерывно названивают, и даже самому герцогу Саганскому⁹ пришлось бы попридержать свой экипаж, если какому-то третьестепенному умирающему взбредет в голову проехать в Hôtel-Dieu по прямой. Умирающие самодуры, и весь Париж запинаятся, когда мадам Легран, brocanteuse¹⁰ с rue de Martyrs¹¹, прибывает, следуя по неминуемой площади острова Cité¹². Следует заметить, что у этих чертовски маленьких повозок необычайно возбуждающие окна из мутного стекла, и за ними можно представлять самые великолепные агонии; для этого достаточно фантазии консьержки. Если же воображения еще больше и его пустить по другим направлениям, то предположения и догадки прямо-таки безграничны. Но я видел, как, досаждая, прибывают и открытые дрожки, повременные дрожки с откинутым верхом; они возят по обычной таксе: два франка за покойнический час.

* * *

Этот образцовый Hôtel очень стар, уже во времена короля Хлодвиг¹³ там умирали на нескольких лежаках. Теперь умирают на 559 кроватях. Естественно, по фабричному методу. При таком чрезмерном производстве каждая отдельная смерть отделяется уже не столь филигранно, но на это никто не досадует. Массовую смерть обрабатывает массивный молоток скульптора. Кто сегодня еще платит за филигранно выполненную смерть? Никто. Даже богатые, которые могли бы заплатить за обстоятельное умирание, даже они становятся небрежными и безразличными; пожелание иметь свою собственную смерть встречается все реже и реже. Еще недолго, и собственная смерть будет такой же редкой, как собственная жизнь. Боже, это все здесь, на земле. Приходишь, используешь жизнь, готовую, только влезай и носи. Уходишь сам, или тебя к этому принуждают – и тут никаких тебе стараний и потуг: Voilà votre mort, monsieur¹⁴. Умирают как попало; умирают смертью, какая полагается болезни, которую сам же и заимел (поскольку изучены все болезни, то понятно, что разнообразные летальные исходы полагаются болезням, а не людям; и больному, так сказать, нечего делать).

В санаториях, где умирают так охотно и с такой благодарностью к врачам и сестрам, умираешь одной из смертей, освоенной в данном учреждении; так уж заведено. Если же умираешь дома, то, естественно, выбираешь учтивую смерть элитного круга, и с нее, соответственно, уже начинаются похороны по высшему классу со всей последовательностью чарующих обрядов. Тогда бедные стоят перед таким домом и могут досыта насмотреться. Их собственная смерть,

⁸ Букв.: «Приют Господень» (фр.) – парижская больница возле кафедрального собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), построенная в 1868–1878 гг. на месте старейшей в Европе лечебницы VII в.

⁹ Альбрехт Венцель Эйсебиус фон Валленштейн (1583–1634), герцог Фридланда, Сагана и Мекленбурга, немецкий генерал и государственный деятель; командующий одной из крупнейших императорских армий в Тридцатилетней войне. Герой драмы Шиллера «Валленштейн».

¹⁰ Старьевщица (фр.).

¹¹ Улица Мартир (букв. «улица Мучеников», фр.).

¹² Cité – один из двух островов на реке Сене, исторический центр Парижа.

¹³ Хлодвиг (ок. 466–511) – основатель Франкского королевства.

¹⁴ Вот ваша смерть, сударь (фр.).

естественно, банальна, без всяких подробностей и хлопот. Они уже рады, если она окажется мало-мальски по мерке. Она может оказаться и слишком большого размера; но покойник всегда еще чуточку вырастает. Только если она не сходится на груди или жмет, то это уже его беда.

* * *

Когда вспоминаю свой дом, где теперь никого уже нет, я думаю, что раньше все происходило по-другому. Раньше знали (или, может быть, догадывались), что смерть носят *в себе*, как плод – семечко. Дети – маленькую смерть, а взрослые – большую. У женщин она в лоне, у мужчин – в груди. Она, смерть, *была* у всех, и это каждому придавало своеобразное достоинство и тихую гордость.

Еще по моему деду, старому камергеру Бригге, было видно, что он носил свою смерть в себе. И что она предназначалась для него одного: в два месяца длиной и такая громкая, что ее слышали даже в фольварке, на хуторе.

Длинный старый господский дом стал слишком мал для этой смерти; казалось, к нему нужно пристраивать флигели, так как туловище камергера становилось все больше, и он беспрестанно требовал, чтобы его переносили из одного помещения в другое, и впал в страшный гнев, когда день еще не кончился, а уже больше не было ни одной комнаты, где бы он еще не лежал. И тогда вся свита из лакеев, служанок и собак, которых он всегда держал при себе, поднялась под предводительством дворецкого по лестнице наверх, в комнату, где некогда скончалась его блаженной памяти матушка, – в комнату, что пребывала в том же самом состоянии, в каком она ее оставила двадцать три года назад, сохраненную, и, кроме того, куда никому не позволялось входить. И теперь вся ватага ввалилась туда. Шторы раздвинули, и грубоватый свет летнего предвечерья ощупывал все эти робкие, испуганные предметы и неумело вертелся в расчехленных зеркалах. И люди поступали точно так же. Тут собрались камеристки, и они от любопытства не знали, куда девать руки, молодые слуги, и они на все пялились, и старые челядинцы – они ходили кругами и старались вспомнить, что им рассказывали об этой закрытой на ключ комнате, где они теперь столь счастливо оказались.

Однако пребывание в помещении, где у каждой вещи имелся свой запах, необычайно возбуждающе действовало прежде всего на собак. Большие узкие русские борзые бегали позади кресел туда-сюда, длинным танцующим шагом, покачиваясь всем телом, пересекали комнату, вставали на задние лапы, как собаки на гербах, и, опираясь узкими лапами на белозолотые подоконники и вертя острыми напряженными мордами с убегающими назад лбами, поглядывали вправо и влево, во двор. Маленькие, желтые, как перчатки, таксы, как бы показывая, что все в порядке, сидели в широком шелковом мягком кресле у окна, а жесткошерстная, устрашающего вида легавая чесала свою спину о край стола с позолоченными ножками, и на расписной столешнице дрожали чашки из севрского фарфора.

Да, для растерянных, заспанных вещей наступило ужасное время. Случалось, что из книг, когда их неловко открывала чья-то торопливая рука, выпадали лепестки роз – и затаптывались; хватали мелкие хрупкие предметы, и после того, как они тотчас же ломались, их опять ставили на место, а некоторые из них, погнутые, тут же прятали под шторы или даже бросали за позолоченную сетку каминной решетки. И время от времени что-то падало; падало, завернутое, на ковер, падало, блестя, на твердый паркет, но и там, и там разбивалось, с резким звуком разлетаясь на осколки или почти беззвучно ломаясь, поскольку эти вещи, избалованные, какими они были, не переносили никакого падения.

И если бы кому-нибудь пришло в голову спросить, что стало причиной всего этого, кто затребовал полной гибели этой опасно охраняемой комнаты, то нашелся бы только *один* ответ: смерть. Смерть камергера Кристофа Детлева Бригге из Ульсгарда. Потому как он лежал, огромный, выпирая из своей темно-синей униформы, посредине на полу и не шевелился. На

его огромном, чужом, никому уже не знакомом лице закрылись глаза: он не видел, что происходило вокруг. Сначала пробовали положить его на кровать, но он этому воспротивился, поскольку он возненавидел кровати с тех первых ночей, когда его болезнь пошла в рост. Кроме того, кровать там, наверху, оказалась слишком маленькой, и тогда ничего не оставалось, как положить его так, на ковер; потому что он не захотел, чтобы его спустили вниз.

И теперь он лежал там, и можно было подумать, что он умер. Собаки, когда стало медленно смеркаться, одна за другой потянулись в дверную щель, только жесткошерстная с устрашающей мордой легавая сидела около своего хозяина, и ее широкая лохматая передняя лапа покоилась на руке Кристофа Детлева, огромной и серой. Большинство прислуги теперь толпилось за дверью, в белом коридоре, где было посветлей, чем в комнате; но те, кто еще оставался, иногда украдкой посматривали на огромную темнеющую кучу посередине, и они желали, чтобы это не было чем-то, кроме как огромным мундиром, натянутым на пришедшую в негодность вещь.

Но было нечто еще. Некий голос, и уже семь недель как его никто не узнавал: ведь это был не голос камергера. Не Кристофу Детлеву, не ему принадлежал этот голос, – голосила его, Кристофа Детлева, смерть.

Смерть Кристофа Детлева жила уже много-много дней в Ульсгарде, и говорила со всеми, и требовала. Требовала переноски, требовала голубую комнату, требовала маленький салон, требовала зал. Требовала собак, требовала, чтобы смеялись, говорили, играли и были тихими – и все одновременно. Требовала увидеться с друзьями, с женами и умершими – и сама же требовала, чтобы дали умереть: требовала. Требовала и кричала.

Потому что когда наступала ночь и переутомленная прислуга, кто не дежурил, пыталась заснуть, тогда кричала смерть Кристофа Детлева, кричала и стонала, ревела так долго и настойчиво, что собаки, которые поначалу ей подвывали, онемевали и не смели улечься и, стоя на своих длинных, стройных, дрожащих ногах, замирали от страха. И когда сквозь широкую, серебряную датскую летнюю ночь в деревне слышали, как она орала, люди вставали, как в бурю, одевались и, не говоря ни слова, сидели вокруг лампы, пока не затихало. И женщин, тех, кто на сносях, укладывали в самые отдаленные комнаты, за самые плотные пологи, но они все равно слышали это, слышали, как если бы выло в их собственных чревах, и они умоляли, чтобы им разрешили тоже встать, и приходили, белые и далекие, со стертыми лицами, и подсаживались к другим. И коровы, те, что в это время телились, были беспомощны и не могли растелиться, и у одной вырвали мертвого теленка вместе со всеми внутренностями, когда он не хотел выходить. И все делали плохо свою дневную работу и забывали принести сена, потому что днем они боялись ночи, потому что от длительного бденья и от того, что всечасно в испуге вскакивали, они так утомлялись, что ничего не могли сообразить. И когда в воскресенье они шли в белую мирную церковь, они молились, чтобы в Ульсгарде не стало хозяина, потому что этот – ужасный хозяин. И то, о чем все думали и молились, громко говорил пастор с кафедры, и у него тоже больше не было никаких ночей, и он не мог уразуметь Бога. И об этом же говорил колокол, потому что испугался страшного соперника, кто всю ночь угрожал и кому, даже начини он звонить во весь металл, все равно ничего не смог бы противопоставить. Да, все это говорили, и среди молодых дворовых нашелся один, кому приснился сон, что вроде бы он пошел в замок и заколол милостивого господина своими навозными вилами, и на взводе, доведенные уже до предела, издерганные, все, кто слушал, когда он рассказывал свой сон, сами того не осознавая, прикидывали, способен ли он в самом деле на такое деяние. Так чувствовали и говорили во всей округе, где всего лишь несколько недель тому назад любили камергера и жалели его. И хотя все так говорили, ничего от этого не менялось. Смерть Кристофа Детлева обосновалась в Ульсгарде и никому не позволяла себя торопить. Она поселилась на десять недель и эти десять недель оставалась там. И все это время она господствовала так, как не господствовал сам Кристоф Детлев Бригге, она была как царь, прозванный Грозным позднее и навсегда.

Это не была смерть от какой-нибудь водянки, это была злая княжеская смерть, и камергер носил ее в себе всю жизнь и питал из самого себя. Весь избыток гордыни, воли и господской силы, не израсходованный им самим во время своих спокойных дней, достался его смерти, и она, смерть, теперь засела в Ульсгарде и проматывала все до последнего.

Как бы камергер Бригге посмотрел на того, кто потребовал бы от него, чтобы он умирал другой, не этой, смертью. Он умирал своей, тяжелой смертью.

* * *

И когда я думаю о других, кого видел или о ком слышал, – всегда то же самое. У всех была своя собственная смерть. У этих мужчин, носивших ее под доспехами, в себе, как узницу, у этих женщин, ставших очень старыми и маленькими, а потом переместившихся на огромную кровать, как на подиум, перед всей семьей, прислужой и собаками, скромно и величественно. И у детей, даже у самых маленьких, была не какая-то детская смерть, нет, они собирались с силами и умирали такими, какими они уже были, и такими, какими они со временем стали бы.

И какую же печальную красоту это придавало женщинам, когда они беременели и стояли, и в их огромных животах, на которых непроизвольно лежали узкие руки, было *два* плода: ребенок и смерть. Разве плотная, почти питательная улыбка на их совсем нездешних лицах не оттого, что они чувствуют, как растут оба плода?

* * *

Кое-что я предпринял против страха. Я сидел всю ночь и писал и теперь по-хорошему устал, как после далекой ходьбы по полям Ульсгарда. И все же тяжело думать, что всего этого больше нет, что чужие люди живут в старом длинном господском доме. Может быть, в белой комнате наверху во флигеле теперь спят батрачки, спят своим тяжелым, влажным сном с вечера до утра.

И никого и ничего нет, и едешь по миру с чемоданом и ящиком книг и, в сущности, без любопытства. Ну, какая же это, в сущности, жизнь: без дома, без унаследованных вещей, без собак. Были бы, по крайней мере, собственные воспоминания. Но разве они есть? Было бы, по крайней мере, детство, а то и оно как закопанное. Наверное, надо быть старым, чтобы дойти до всего этого. Я думаю, мне это подходит: быть старым.

* * *

Сегодня прекрасное осеннее утро. Я шел по Тюильри¹⁵. Все, что находилось перед востком, напротив солнца, слепило. Освещенное завешивал туман, как светло-серый занавес. Серые на сером, грелись на солнце статуи в еще не обезлиствевшем саду. Отдельные цветы на длинных грядках просыпались и говорили: красный – испуганным голосом. Потом из-за угла, от Елисейских полей появился очень высокий и стройный мужчина; он шел с костылем, не подводя его под плечо, – держал костыль перед собой, легко, и время от времени ставил его прочно и со стуком, как жезл герольда. Он не мог сдерживать улыбку радости и, ни на кого не глядя, улыбался солнцу и деревьям. Его шаг был боязлив, как шаг ребенка, но необычно легкий и преисполнен воспоминаний о прежней ходьбе.

¹⁵ Сад между Лувром и площадью Согласия, разбитый на месте сгоревшего в дни Парижской коммуны (1871) дворца (1564–1670), одной из резиденций французских королей.

* * *

Да уж, маленькая луна может все. У нее свои дни, где вокруг все светло, легко, едва подано в светлом воздухе и все-таки отчетливо. У ближайшего уже оттенок дали, оно отнято и только показано, но не протянуто; а то, что имеет отношение к простору – река, мосты, длинные улицы и площади, которые безрассудно себя расточают, все, что этот простор разместил позади себя, нарисовано на нем, как на шелке. И не сказать, чем может потом оказаться светло-зеленая карета на мосту Pont-neuf ¹⁶, или нечто красноватое, чего не удержать, или даже афиша на брандмауэре жемчужно-серого строения со многими крышами и общей фронтальной стеной. Все упрощено, нанесено на несколько правильных светлых планов, как лицо на картине Моне. И ничто не ничтожно, и ничто не избыточно. Букинисты на набережной открывают свои ящики, и свежая или попользованная желтизна книг, фиолетовая смуглость томов, преобладающая зелень папок – все согласуется, годится, принимает участие и создает полноту, где ничего и ничто не отсутствует.

* * *

А внизу следующий подбор: небольшая ручная коляска, ее толкает женщина; спереди, на коляске, шарманка в длину. Сзади, поперек, детская корзинка, где совсем крохотуля стоит на прочных ножках, довольный, в своем чепце, и не дает себя посадить. Время от времени женщина заводит свою заунывную песню. И крохотуля тотчас принимается снова топтать в своей корзинке, а маленькая девочка в зеленом воскресном платье тянет руки к окнам, танцует и бьет в тамбурин.

* * *

Я думаю, что мне нужно начинать что-то делать, теперь, когда я учусь видеть. Мне двадцать восемь, и даже хорошо, что ничего особенного не произошло. Переберем: я написал этюд о Карпаччо, и этюд плох, одну драму, которая называется «Супружество», где я нечто фальшивое хочу обосновать двусмысленными средствами, и стихи. Ах, но в стихах получится немного, если их пишешь с ранних лет. Со стихами нужно повременить, и смысл и сладость собираются в течение всей жизни, и по возможности – долгой, и совсем уж в конце, может быть, удастся написать десять строк действительно хороших. Потому что стихи – это не чувства, как думают люди (их, чувств, в молодости предостаточно): это опыты. Ради одной строчки нужно увидеть много городов, людей и вещей, нужно узнать животных, нужно чувствовать, как птицы летят, и знать жесты маленьких цветов, когда они открываются по утрам. Нужно уметь вспоминать о дорогах в незнакомых краях, о неожиданных встречах и расставаниях, давно и с грустью предвиденных, – о днях детства, еще до конца не проясненных, о родителях, сожалея, что их приходилось обижать, когда они дарили радость, а их не понимали (кого-нибудь другого она бы обрадовала), вспоминать о детских болезнях, начинающихся всегда так странно и с таким множеством глубоких и тяжелых превращений, о днях в тихих уютных комнатах и об утрах у моря, о море вообще, о морях, о ночных путешествиях, когда они высоко и с затихающим шелестом пролетали вместе со всеми звездами, – и этого еще недостаточно, если даже обо всем этом можешь думать. Нужно иметь воспоминания о многих любовных ночах, когда ни одна из них не похожа на другую, о криках рожениц и о легких, белых спящих женщинах, только

¹⁶ Pont-neuf (фр. Новый мост) связывает западную оконечность острова Сите с левым и правым берегами Сены.

что разрешившихся от бремени. Но нужно еще побыть при умирающих, нужно посидеть около покойника в комнате с открытым окном и прерывистыми уличными шумами. Но этого еще недостаточно – иметь воспоминания. Нужно уметь их забыть, если их много. И нужно большое терпение, чтобы ждать, когда они вернутся снова. Поскольку эти воспоминания, собственно, еще не *суть*. Лишь когда они в нас становятся кровью, взглядом и жестом, безмянно и уже неотличимо от нас самих, – лишь тогда может случиться, что в какой-то очень редкий час первое слово стиха зародится в их середине и выйдет из них.

Все мои стихи возникли иначе – значит, их нет. И когда я писал свою драму, как же я там блуждал! Был ли я подражателем и глупцом, если нуждался в третьем, чтобы рассказывать о судьбе двоих, когда они друг другу в тягость? Как ловко я попался в ловушку! А ведь мне надо бы знать, что этот третий, тот самый, кто проходит сквозь все жизни и литературы, – это призрак третьего, коего никогда не было, и он никакого значения не имеет, его нужно просто не признавать. Он относится к отговоркам природы, потому что природа всегда старается отвлечь внимание людей от своих глубочайших тайн. Он – прикрытие в виде ширмы, за которой разыгрывается драма. Он – шум при входе в безголосую тишину действительного конфликта. Можно подумать, что всем до сих пор слишком тяжело говорить о двоих, о ком, собственно, и идет речь; третий, именно потому, что он такой нереальный, и есть та самая легкость задачи, когда ответ знают все. Сразу в начале всех драм замечаешь нетерпение поскорей подойти к третьему, они его уже ждут не дождутся. Как только он появляется, все хорошо. Но как скучно, если он запаздывает, без него решительно не может ничего произойти, все стоит, застопоривается, ждет. А ну как все при этом заторе и выжидании останется? Как, господин драматург и ты, публика, знающая жизнь, как быть, если он уже пропал без вести, этот излюбленный прожигатель жизни или этот мнящий о себе слишком много молодой человек, который во все супружества вставляется как отмычка? Как быть, если его, например, подрал черт? Давайте предположим. Сразу настораживает противоестественная театральная пустота, ее замуровывают, как опасную дыру, только моль из окантовки лож шатко переступает по несостоятельному пространству, где не на что опереться. Драматурги не наслаждаются больше своими роскошными городскими особняками. Все частные сыщики ищут для них в удаленных частях мира того самого невосполнимого, кто, собственно, и был всем театральным действием.

И при этом они живут среди людей, не эти «третьи», но те самые двое, о ком так невысказанно много можно было бы сказать. О ком еще никогда и ничего так и не сказали, хотя они страдают и действуют, и не знают, как себе помочь.

Это смешно. Я сижу здесь, в моей маленькой комнате, я, Бригге, двадцати восьми лет от роду и о ком никто не знает. Я сижу здесь, и я – ничто. И все же это ничто начинает думать и думает, на пятом этаже, на исходе серого парижского дня, вот что.

Разве возможно, думает, что еще ничего действительного и важного не увидено, не узнано и не сказано? Разве это возможно, располагая тысячами лет времени, чтобы смотреть, размышлять и запечатлевать, дать пройти этим тысячам лет мимо, как школьной перемене, успев только съесть свой бутерброд и яблоко?

Да, это возможно.

Разве возможно, несмотря на изобретения и прогресс, несмотря на культуру, религию и мировую мудрость, оставаться на поверхности жизни? Разве это возможно, что даже эту поверхность, что-то собой тем не менее все же представлявшую, обтянули невероятно скучной материей, так что она выглядит как салонная мебель во время летних отпусков?

Да, это возможно.

Разве возможно, что вся мировая история превратно понята? Разве возможно, что прошлое лживо, потому что всегда говорили о массах, именно как если бы рассказывали о сбежавшемся множестве людей, вместо того чтобы сказать об одном, вокруг которого они стояли, потому что он был чужой и умер?

Да, это возможно.

Разве возможно, чтобы считать, что необходимо наверстывать то, что происходило до того, как мы родились? Разве это возможно, чтобы каждый отдельный человек помнил, что он возник из всех ранее живших, то есть знал бы это и обязался не поддаваться никаким возражениям других, которые знали нечто другое?

Да, это возможно.

Разве возможно, что все эти люди совершенно точно знают прошлое, которого никогда не было? Разве это возможно, что все действительное для них ничто; что их жизнь идет, не связанная ни с чем, как часы в пустой комнате?

Да, это возможно.

Разве возможно ничего не знать о девушках, тогда как они все-таки живут? Разве это возможно – говорить «женщины», «дети», «мальчики» и не подозревать (при всей образованности не подозревать), что эти слова давно не имеют никакого множественного числа и у них только неисчислимое единственное число?

Да, это возможно.

Разве возможно, что есть люди, которые говорят «Бог» и считают, что это нечто общее для всех? – А посмотри лишь на двух школьников: один покупает себе перочинный нож, а его сосед по парте – точно такой же, в тот же самый день. И через неделю они сравнивают ножи, и оказывается, что между ножами лишь отдаленное сходство – такими разными они стали в разных руках. (Да, говорит мать одного из них: если бы вы тоже всегда все одинаково затупляли.) Ах, так: разве возможно поверить, что у всех один Бог, не пользуясь им?

Да, это возможно.

Но если все это возможно, даже если есть только кажущаяся возможность, – тогда должно же, ради всего святого, что-то произойти. Первый, тот, кого эта беспокойная мысль донимает, должен начать что-то из упущенного делать; даже если он какой-нибудь не самый подходящий: другого-то ведь нет. Этот молодой, без претензий, иностранец, Бригге, должен усесться на пятом этаже и писать день и ночь, да, он должен будет писать, и – все.

* * *

Мне тогда было лет двенадцать или, самое большее, тринадцать. Мой отец взял меня с собой в Урнекlostер¹⁷. Я не знаю, что его побудило провести своего тестя. Они не виделись много лет – со дня смерти моей матери, и отец еще никогда не бывал в старом замке, куда граф Брахе удалился от дел уже в преклонных летах. Достопримечательный дом я уже больше никогда не видел: когда умер мой дедушка, дом перешел в чужие руки. Как ни старательно я восстанавливаю его в своих детских воспоминаниях, он не представляется одним зданием; во мне он совершенно разделен; тут помещение, там помещение и здесь кусок коридора, и он оба эти помещения никак не соединяет, а сохраняется сам по себе, как фрагмент. Подобным же образом во мне разбросано все – комнаты, лестницы, спускающиеся с такой возвышенной медлительностью, и другие – узкие, винтовые деревянные лесенки, в чьей темноте идешь, как кровь по жилам; башенная комната, высоко подвешенные балконы, неожиданные террасы второго этажа, куда протискиваешься через маленькую дверь, – все это еще во мне и никогда не перестанет пребывать во мне. Как если бы представление об этом доме низвергнулось в меня с бесконечной высоты и где-то на моем дне распалось на куски.

В целости сохранился в моем сердце, как мне кажется, только тот зал, где мы, по обыкновению, собирались к обеду каждый вечер в семь часов. Это помещение я никогда не видел

¹⁷ Родовое гнездо старинного графского рода Урне, находящегося через Софию Урне (1629–1714) в родстве с династией графов фон Ольденбург, королей Дании в 1448–1863 гг. и Норвегии в 1448–1814 гг.

днем, я даже не помню, есть ли там окна и куда они выходят; каждый раз, когда бы ни вступала туда вся семья, свечи уже горели в тяжелых канделябрах, и через несколько минут забываешь время дня и все, что видел во дворе. Это высокое, как я предполагаю, сводчатое помещение казалось прочней, чем все остальное. Оно своей темнеющей высотой, своими никогда полностью не проясненными углами высасывало из каждого все представления и воспоминания, ничего определенного не давая взамен. Там сидишь как растворенный – совершенно без воли, без смысла, без удовольствия и без защиты. Как пустое место. Я вспоминаю, что это уничтожающее состояние сначала вызывало во мне почти дурноту, какой-то вид морской болезни, и ее я преодолевал тем, что вытягивал ногу так, чтобы касаться колена моего отца, сидевшего напротив меня. Лишь позднее до меня дошло, что он мое столь странное поведение понял или, кажется, все же терпел, хотя между нами сложились почти прохладные отношения, и они такое поведение не проясняют. Между тем это легкое прикосновение давало мне силы выдерживать длинные трапезы. И после нескольких недель судорожной выдержки я с почти безграничной приспособляемостью ребенка настолько привык к жутковатости тех сходов, что позднее, уже не напрягаясь, мог выдержать двухчасовое сидение за столом; теперь оно проходило даже сравнительно быстро, потому что я занимался тем, что рассматривал присутствующих.

Мой дедушка называл их семьей, и я слышал, как и другие употребляли это название, на мой взгляд, совершенно произвольное, поскольку, хотя эти четыре человека и состояли в дальнем родстве, им никоим образом не следовало бы совмещаться. Дядюшка, сидевший рядом со мной, был уже стар, на его грубом и обожженном лице виднелось несколько черных пятен, как я узнал, от взрыва боевого порохового заряда; ворчливый и всем недовольный, каким его и считали, военную службу он закончил в чине майора и теперь в одном из неизвестных мне помещений замка производил алхимические опыты и, как говорили слуги, сносился с тюремной мертвецкой, откуда ему один или два раза в год доставляли трупы, после чего он на целые дни и ночи запирался, трупы изрезал и таинственным образом обрабатывал, чтобы они противостояли гниению. Напротив него всегда сидела фрейлейн Матильда Брахе. Персона неопределенного возраста, дальняя кузина моей матери; о ней никто ничего не знал, разве только то, что она вела оживленную переписку с каким-то австрийским спиритом, называвшим себя бароном Нольде, и выказывала ему такую преданность, что не предпринимала ничего, даже самой малости, предварительно не получив его согласия или, более того, чего-то вроде его благословения. В то время она отличалась необыкновенной дородностью, и ее мягкая, вялая полнота как бы вливалась в свободные светлые платья; ее движения казались утомленными и неопределенными, а ее глаза постоянно слезились. И, несмотря на это, в ней было что-то такое, что напоминало мне мою нежную и стройную мать. Я, чем больше ее рассматривал, находил в ее лице все утонченные и тихие черты, которые не мог бы как следует вспомнить после смерти моей матери; лишь теперь, когда я ежедневно видел Матильду Брахе, я снова знал, как выглядела умершая; да, я узнал это, может быть, впервые. Лишь теперь из сотен и сотен мелочей во мне складывался образ покойной, тот образ, который меня повсюду сопровождает. Позднее мне стало ясно, что в лице фрейлейн Брахе наличествовали все мелочи, определявшие черты моей матери, – они только были расставлены порознь, искажены и больше не связаны друг с другом, как если бы в промежутках между ними поместили чужое лицо.

Рядом с этой дамой сидел маленький сын кузины, мальчик приблизительно одного возраста со мной, но поменьше ростом и послабей. Из плиссированного воротника выглядывала тонкая бледная шея и пропадала под удлинненным подбородком. Губы узкие и плотно сжатые, крылья носа слегка дрожат, прекрасные карие глаза, но подвижен только один. Иногда этот глаз спокойно и печально смотрел на меня, в то время как другой уставлялся в один и тот же угол, как если бы он был продан и больше во внимание не принимался.

Во главе стола возвышалось чудовищно огромное кресло моего деда, и слуга, ничего иного не делавший, это кресло ему пододвигал, и в нем старик занимал лишь незначительное

пространство. Одни называли этого тугоухого и властного старого господина «ваше превосходительство» и «гофмаршал», другие титуловали его генералом. Он, конечно, имел все эти звания, но с той поры, когда он занимал какие-то должности, прошло столько времени, что теперь эти обращения едва ли кто понимал. Мне же вообще казалось, что к его личности, в известные моменты так резко очерченной и все же снова и снова размытой, растворенной, не подошло бы никакое определенное имя или звание. Я никогда не решался назвать его дедушкой, хотя он иногда относился ко мне доброжелательно, даже подзывал меня к себе, причем пытался придать моему имени шутовское звучание. Впрочем, в отношении всей семьи к графу замечалась некая смесь преклонения и страха, и только маленький Эрик жил в известной доверительности к седовласому хозяину дома; его подвижный глаз иногда быстро и к полному взаимопониманию бросал взор на деда, который так же быстро и тем же отвечал ему; иногда в долгие послеобеденные часы деда и внука видели в конце глубокой картинной галереи и наблюдали, как они, рука в руке, ходили вдоль темных старых портретов, не разговаривая, но явно понимая друг друга каким-то другим способом.

Я почти целыми днями пропадал в парке и за его пределами, в буковых лесах или на лугу; к счастью, в Урнеклостере держали собак, и они меня сопровождали; тут и там встречались дома арендаторов земли или фермы, где я мог утолить голод молоком, хлебом и фруктами, и думаю, что я наслаждался своей свободой довольно беззаботно и, по крайней мере, уже в следующие недели не пугался при мысли о вечерних обеденных сходах. Я почти ни с кем не разговаривал, потому что как раз радовался, что одинок; лишь с собаками у меня время от времени происходили короткие беседы: мы прекрасно понимали друг друга. Вообще-то молчаливость – наша фамильная особенность; я знал о ней по моему отцу, и меня не удивляло, что за ужином почти не разговаривали.

В первые дни после нашего приезда Матильда Брахе казалась крайне разговорчивой. Она расспрашивала отца о прежних знакомых в заграничных городах, она вспоминала о давних впечатлениях, она почти до слез растрогалась, когда заговорила об умерших подругах и одном известном молодом человеке, давая понять, что он ее любил, но она не могла ответить на его постоянную и безнадежную благосклонность. Мой отец вежливо слушал, время от времени наклонял, соглашаясь, голову и отвечал лишь при крайней необходимости. Граф во главе стола постоянно улыбался стиснутыми и растянутыми губами, его лицо казалось крупнее, чем на самом деле, как если бы он надел маску. Иногда он и сам вставлял слово, причем его голос ни к кому не относился, но, при всей своей тихости, слышался во всем зале; в его голосе улавливалось нечто от равномерного и непричастного тиканья часов; тишина вокруг этого голоса, казалось, имеет собственный пустой резонанс, для каждого слога одинаковый.

Граф Брахе считал, что проявляет к моему отцу особую учтивость, заводя с ним разговор о его покойной супруге, моей матери. Он называл ее графиней Сивиллой, и все его фразы заканчивались так, как если бы он спрашивал о ней. Сам не знаю почему, но мне всегда казалось, что речь идет о совсем молодой девушке в белом, которая в любой момент может к нам войти. В таком же тоне, я слышал, он говорит о «нашей маленькой Анне Софи»¹⁸. И когда я однажды спросил об этой фрейлейн, поскольку мне показалось, что она особенно мила дедушке, то узнал, что он имел в виду дочь великого канцлера Конрада Ревентлова, некогда морганатическую супругу Фридриха Четвертого, уже почти полтора века покоящуюся в Роскилле¹⁹. Хронологический порядок не играл для него никакой роли, смерть ему казалась мелким инцидентом, и он ее совершенно игнорировал; персоны, однажды включенные им в свою память, существовали, и в этом смысле их умирание не могло изменить даже малости. Много

¹⁸ *Анна Софи Ревентлов* (1693–1743); в 1712 г. король Дании и Норвегии Фридрих IV (1699–1730) заключил с ней тайный брак и стал двоеженцем. Когда законная королева умерла, через девять лет Фридрих IV женился на Анне Софи во второй раз и сделал ее королевой.

¹⁹ *Роскилле* – собор XII века в Восточной Дании, где хоронили членов королевской семьи.

лет спустя после смерти старого господина рассказывали, что он и будущие события воспринимал с тем же своеволием – как настоящие. Как-то одной известной молодой женщине он рассказывал о ее сыновьях, в особенности о путешествиях одного из них, в то время как молодая дама, находясь на третьем месяце своей первой беременности, сидела рядом с непрерывно говорящим стариком, почти обезумев от страха и ужаса.

Но в тот раз все началось с того, что я рассмеялся. Да, я громко рассмеялся и никак не мог успокоиться. Дело в том, что как-то вечером за столом отсутствовала именно Матильда Брахе. Старый, почти ослепший слуга, когда подошел к ее пустому стулу, все же предложил блюдо. Какое-то время слуга оставался в склоненной позе, после чего удовлетворенно и полный достоинства, как если бы все было в порядке, пошел с подносом дальше. Я наблюдал за этой сценой, и в тот момент, когда я ее видел, она мне казалась совсем не смешной. Но какое-то время спустя, как раз когда я засунул кусок чего-то в рот, смех так быстро меня разобрал, что я поперхнулся и вызвал большой шум. И несмотря на то, что ситуация меня самого удручала, несмотря на то, что я всеми способами старался стать серьезным, смех сотрясал меня снова и снова и полностью властвовал надо мной.

Мой отец, стараясь замаскировать мое поведение, спросил своим растянутым глуховатым голосом: «Разве Матильда больна?» Дедушка засмеялся в своей обычной манере и ответил некоей фразой, но я, занятый сам собой, тогда в нее не вник; фраза приблизительно гласила: «Нет, она лишь не хочет встречаться с Кристиной». Поэтому я не увидел последствия этих слов в том, что мой сосед, обгоревший майор, поднялся и, невнятно пробормотав извинение и поклонившись в сторону графа, покинул зал. Мне лишь бросилось в глаза, что за спиной хозяина дома, в дверях, он еще раз обернулся и стал кивать маленькому Эрику и, к моему большому удивлению, мне тоже, как если бы он просил нас последовать за ним. Я настолько поразился, что мой смех, так меня тяготивший, сразу прекратился. В остальном же уход майора меня несколько не коснулся; он был мне неприятен, и к тому же я отметил, что маленький Эрик не обращает на него никакого внимания.

Трапеза, как всегда, тащилась своим чередом и добралась до десерта, когда мои взгляды сцапало и удержало некое движение, возникшее в конце зала, в полутьме. Там медленно отворилась всегда закрытая, как я считал, дверь, ведущая, как мне говорили, на антресоли, и теперь, когда с совершенно новым чувством любопытства и смиятия я смотрел туда, из темноты дверного раствора выступила стройная, одетая в светлое дама и медленно направилась к нам. Не знаю, совершил ли я какое-нибудь неловкое движение или издал какой-нибудь звук, но шум падающего стула заставил меня оторвать взор от странной фигуры, и я увидел моего отца, который вскочил и теперь, мертвенно бледный, с напряженно сжатыми и уроненными кулаками, направился к даме. Между тем она, совершенно несоприкосновенная с этой сценой, двигалась к нам, шаг за шагом, и оказалась уже недалеко от графа, когда он рывком поднялся, схватил моего отца за руку, притянул его назад, к столу, и держал, в то время как посторонняя дама медленно и безучастно следовала по освободившемуся пространству, шаг за шагом, сквозь неопишемую тишину, в которой где-то, дрожа, звенел бокал, и пропала в дверях с противоположной стороны зала. В это мгновение я заметил, что это был маленький Эрик, и он с глубоким поклоном закрыл двери за неизвестной дамой.

Я единственный, кто остался сидеть за столом; я сделался таким тяжелым в моем кресле, что, как мне казалось, никогда не смогу один подняться. Некоторое время я смотрел, не видя. Затем проявился отец, и я обнаружил, что старик все еще крепко держит его за руку. Лицо моего отца теперь стало гневным, налилось кровью, но дед, чьи пальцы, как белая когтистая лапа, охватили руку моего отца, улыбался своей маскообразной улыбкой. Затем я услышал, как отец что-то сказал, слог за слогом, и я не мог понять смысла его слов. Тем не менее они глубоко запали в мой слух, и однажды, около двух лет назад, в один из дней, роясь в своих воспоминаниях, я эти слова нашел и с тех пор их знаю. Отец сказал: «Ты вспылчив, камер-

гер, и невежлив. Почему ты не позволяешь людям идти по своим делам?» «Кто это?» – закричал мой отец немного раньше. «Тот, кто, конечно, имеет право здесь находиться. Никакая не посторонняя. Кристина Брахе». – И снова установилась та самая странно тонкая тишина, и снова начал дрожать бокал. А мой отец каким-то движением вырвался и бросился из зала.

Я слышал, как он в своей комнате всю ночь ходил взад-вперед; я тоже не мог заснуть. Но вдруг ближе к утру очнулся от какого-то подобия сна и с ужасом, парализовавшим меня до самого сердца, увидел нечто белое, сидевшее на краю моей кровати. Мое отчаянье наконец дало мне силы хотя бы для того, чтобы спрятать голову под одеяло, и там от страха и беспомощности я заплакал. Вдруг над моими плачущими глазами стало прохладно и светло; я плотно зажмурился, чтобы не видеть ничего над слезами. Но теперь голос с совсем близкого расстояния вшептывался в меня, тепловато и сладко ласкался к моему лицу, и я узнал его: голос фрейлейн Матильды. Я сразу успокоился, а она, несмотря на то что я был уже совершенно спокоен, продолжала меня утешать; хотя я чувствовал, что доброта эта слишком уж размягченная, но все же наслаждался ею и думал, что я ее все-таки заслужил. «Тетя, – сказал я наконец и попытался в ее расплывчатом лице уловить черты моей матери. – Тетя, кто эта дама?»

«Ах, – сказала фрейлейн Брахе со вздохом, показавшимся мне смешным, – несчастная, мальчик мой, несчастная».

Утром того же дня я заметил в комнате нескольких слуг, занятых упаковкой. Я подумал, что мы уезжаем, и находил совершенно естественным, что мы теперь же уедем. Может быть, это и являлось намереньем моего отца. Я никогда не узнаю, что побудило его после того вечера остаться в Урнеклостере. Но мы не уехали. Мы задержались еще на восемь или девять недель в этом доме, переносили гнет его странностей и еще трижды видели Кристину Брахе.

Я тогда ничего не знал про ее историю. Не знал, что она давным-давно умерла при вторых родах, разрешаясь мальчиком, и со временем он вырос для трагической и жестокой судьбы, – я не знал, что она покойница. Но мой отец знал. Хотел ли он, при всей своей азартности склонный к последовательности и ясности, принудить себя, сдержанно и ни о чем не спрашивая, перетерпеть это испытание? Я видел, не уясняя, как он боролся с собой, я это просто ощущал на самом себе, не понимая, как он в конце концов себя все-таки принудил.

Это случилось, когда мы видели Кристину Брахе в последний раз. В этот раз фрейлейн Матильда тоже явилась к столу, но она была не такая, как всегда. Как в первые дни после нашего пребывания, она говорила беспрестанно, без определенной связи и ежеминутно путаясь, и при этом в ней замечалось телесное беспокойство, и это вынуждало ее постоянно поправлять волосы или платье, – и вдруг она с резким жалобным криком вскочила и исчезла.

В тот же миг я непроизвольно посмотрел на известную дверь, и действительно: входила Кристина Брахе. Мой сосед, майор, сделал порывистое толчковое движение, вросшее в мое тело, но у самого майора явно не было никакой силы, чтобы подняться. Его обгорелое, старое, в пятнах, лицо поворачивалось от одного к другому, его рот был открыт, и язык перемещался за испорченными зубами; потом это лицо вдруг исчезло, и майорская серая голова уже лежала на столе, и его руки, как отдельные куски, лежали на ней и под ней, и откуда-то приподнималась бледная, в пятнах, кисть руки и дрожала.

И теперь мимо шла Кристина Брахе, шаг за шагом, медленно, как больная, сквозь неопишемую тишину, в которой звучал лишь один-единственный скулящий звук, как если бы выла старая собака. Но тут слева, из-за огромного серебряного лебедя, наполненного нарциссами, выдвинулась огромная маска старика с всегдашней непонятной серой усмешкой. Он, поднимая, тянул свой бокал с вином к моему отцу. И теперь я увидел, как мой отец, как раз когда Кристина Брахе проходила позади его кресла, потянулся за своим бокалом и, как нечто очень тяжелое, поднял его на ширину ладони над столом.

И в ту же ночь мы уехали.

* * *

*Bibliothèque Nationale*²⁰.

Я сижу и, как собирают ягоды, читаю поэта. В зале много людей, но они не ощущаются. Они в книгах. Иногда они шевелятся в страницах: так спящие переворачиваются между двумя сновидениями. Ах, как хорошо находиться среди читающих людей. Почему они не всегда такие. Можно подойти к кому-нибудь и легко его коснуться. Он ничего не почувствует. И если, вставая, слегка толкнешь соседа и извинишься, то он кивнет в ту сторону, откуда услышал твой голос, его лицо повернется к тебе и тебя не увидит, и его волосы – как волосы спящего. Как это приятно. И я сижу, и со мной поэт. Что за судьба! В зале, наверное, триста человек, и все читают; но не может быть, чтобы у каждого из них по отдельности был свой поэт. (Бог знает, что они читают!) Трехсот поэтов не наберется. Но только взгляни, что за судьба, я, может быть, самый бедный из этих читающих, иностранец, и у меня есть поэт. Несмотря на то, что я беден. Несмотря на то, что на моем костюме, который ношу ежедневно, появились на известных местах потертости, несмотря на то, что по поводу моей обуви можно сделать то или иное замечание. Хотя мой воротник чист, мое белье тоже, и я, какой есть, мог бы зайти в любую кондитерскую, если угодно, даже на Больших Бульварах²¹, и мог бы свою руку уверенно сунуть в тарелку с пирожными и что-то взять. Ничего бросающегося в глаза в этом не найдут и меня не побранят и не выставят вон, потому что эта рука все же из хороших кругов, и по руке видно, что ее ежедневно пять-шесть раз моют. Да, ничего нет под ногтями, указательный палец не испачкан чернилами, и особенно безупречны локти. До локтей бедные люди руки не моют, это известный факт. Таким образом, можно по чистоте локтей делать определенные выводы. Их и делают. В торговых домах делают. Но имеется пара личностей на Boulevard Saint-Michel²², например, и на rue Racine²³ – их не проведешь. Им наплевать на локти. Они посмотрят на меня и все поймут. Они знают, что я, собственно, принадлежу к ним, что я только чуточку играю комедию. Все-таки Масленица, карнавал. И они мне подыграют, не захотят испортить шутку; они лишь чуточку ухмыляются и перемигиваются. Ни один человек этого не заметит. Вообще-то они обходятся со мной как с господином. Нужно лишь, чтобы кто-нибудь оказался рядом, тогда они все сделают даже верноподданнически. Сделают, как если бы я в меховой шубе, а за мной следует моя карета. Иногда даю им два су и дрожу: не отклонят ли они их; но они берут. И все было бы в порядке, если бы они снова украдкой не ухмылялись и не перемигивались. Кто эти люди? Чего они от меня хотят? Следят ли за мной? Как они меня узнают? Верно, моя борода выглядит несколько запущенной и совсем, совсем мало, так, слегка, напоминает их хворые, старые, выцветшие бороды, всегда производящие на меня тяжелое впечатление. Но разве я не имею права запустить мою бороду? Многие занятые люди поступают так же, и никому не приходит в голову сразу причислить их к отбросам. Потому как мне ясно, что отбросы – это же не только нищие; нет, это, собственно, даже никакие не нищие, нужно различать. Отбросы – очистки, людская шелуха, судьба выплюнула их. Изжеванные и обслуженные судьбой, они прилипают к стене, к фонарю, к афишной тумбе или медленно стекают вниз по переулку, оставляя темный грязный след позади себя. Чего во всем необъятном мире хотела от меня эта старуха с каким-то ящиком от ночного столика, где каталось несколько пуговиц и иголок, из какой дыры она выползла? Почему все время шла рядом и наблюдала за мной? Как если бы пыталась узнать меня своими гноящимися глазами, выглядевшими так,

²⁰ Национальная библиотека; основана в Париже в 1480 г.

²¹ *Большие Бульвары* – дуга бульваров в северной части исторического центра Парижа.

²² Бульвар Сен-Мишель.

²³ Улица Расина.

как если бы какой-нибудь больной плюнул зеленой слизью ей в окровавленные веки. И откуда взялась та седая маленькая женщина, чтобы стоять четверть часа перед витриной возле меня, показывая мне старый длинный карандаш, который бесконечно медленно выдвигался из ее слабых скрюченных пальцев. Я сделал вид, что рассматриваю выложенные предметы и ничего не замечаю. Но она знала, что я видел ее, знала, что я стоял и думал, что же она, собственно, здесь делает. Конечно, я понимал, что дело не в карандаше: я чувствовал, что это знак, знак для посвященных, знак, понятный отверженным; я догадывался: она намекала мне, что я должен куда-то пойти или что-то сделать. И самое странное: я никак не мог отделаться от чувства, что действительно существует известная договоренность, и с ней-то, с этой договоренностью, и связан этот знак, а эта сцена, собственно говоря, – то, что я и должен был бы ожидать.

Это произошло две недели тому назад, но теперь почти не проходит и дня без такой встречи. Это происходит не только в сумерки, но и днем на самых оживленных улицах: неожиданно появляется маленький человек или старая женщина, кивает, что-то мне показывает и снова исчезает, как если бы теперь все необходимое сделано. Возможно, что им в какой-то день взбредет в голову прийти ко мне в комнату, они, конечно, знают, где я живу, и они уж, конечно, устроят это так, что консьерж их не остановит. Но здесь, мои милые, здесь я в безопасности. Нужно иметь особую карточку, чтобы вступить в этот зал. В этой карточке мое преимущество перед вами. Я несколько робко, как можно подумать, иду по улицам, но в конце концов подхожу к стеклянной двери, открываю ее, как у себя дома, у следующей двери показываю мою карточку (точно так, как вы мне показываете свои вещи, только с той разницей, что меня понимают и знают, что я имею в виду) – и оказываюсь среди этих книг, я отнят от вас, как если бы я умер, и сижу и читаю поэта.

Знаете ли вы, что это такое – поэт? Верлен... Ничего? Никаких воспоминаний? Нет. Вы не отличали его от других, кого вы знали? Различий вы никаких не делаете, знаю. Но это другой поэт²⁴, тот, кого я читаю, живет не в Париже, он совсем другой. У него тихий дом в горах. Он звучит как колокол в чистом воздухе. Счастливый поэт, рассказывающий о своем окне и о стеклянных дверцах своего книжного шкафа, где задумчиво отражается милая, одинокая даль. Это как раз тот поэт, каким я хотел бы стать; потому что он знает так много о девушках, и я тоже о них много бы знал. Он знает о девушках, живших сто лет тому назад; и не имеет никакого значения, что они умерли, потому что он знает все. И это главное. Он произносит их имена, эти тихие, изящно написанные имена со старомодными виньетками в длинных буквах и родовитые имена их старших подруг, имена, где уже, как эхо, звенит судьба, как эхо, разочарование и смерть. Может быть, в ящике его письменного стола из красного дерева лежат их выцветшие письма и разрозненные листки их дневников, где указаны дни рождения, рассказывается о летних загородных прогулках, о самих днях рождения. Или, может быть, в глубине его спальни, в пузатом комодe есть выдвижной ящик, где хранятся их весенние платья; белые платья, обновы на Пасху, платья из тюля в крапинку, предназначенные, собственно говоря, для лета, но его никак не могли дожидаться. О, что за счастливая судьба – сидеть в тихой комнате наследного дома среди спокойных, устойчивых вещей и слушать в легком светло-зеленом саду первых синиц, когда они пробуют петь, и деревенские часы – вдалеке. Сидеть и смотреть на теплые полосы послеполуденного солнца и многое знать о давным-давно миновавших девушках – и быть поэтом. И думать, что я тоже стал бы таким поэтом, будь у меня где-нибудь жилье, где-нибудь на свете, в одном из многих заколоченных деревенских домов, о которых никто не печалится. Мне хватило бы одной-единственной комнаты (светлой комнаты во флигеле). Там бы я жил с моими старыми вещами, семейными портретами, книгами. И у меня было бы все,

²⁴ Имеется в виду *Франсис Жамм* (1868–1938) – французский поэт-символист, автор сборников «От благовеста утреннего до благовеста вечернего», «Проголины в небе» и др. Стихи Жамма на русский переводили И. Анненский, В. Брюсов, И. Эренбург, Б. Лившиц, С. Шервинский; О. Мандельштам упоминает его в стихотворении «Аббат» (1915): «Как жаворонок, Жамм поет».

кресло и цветы, и собаки, и прочная палка для каменистых дорог. И ничего больше. Лишь одна книга, переплетенная в желтоватую, цвета слоновой кости кожу, со старым цветистым тиснением на форзаце: в ней бы я писал. Я писал бы много, потому что у меня было бы много мыслей и воспоминаний о многом и о многих.

Но получилось иначе. Бог знает почему. Моя старая мебель гниет в сарае, куда мне позволили ее поставить, а у меня самого, да, мой Бог, у меня нет крыши над головой, и дождь хлещет мне в глаза.

* * *

Иногда я прохожу мимо маленьких лавок на rue de Seine²⁵ – приблизительно. Торговцы старыми вещами, или мелкие книжные антиквары, или продавцы гравюр с переполненными витринами. К ним никто никогда не заходит. По-видимому, дела у них не идут. Если же заглянуть внутрь, то они сидят и читают, беззаботно; они не заботятся о завтрашнем дне, не беспокоятся о выручке, у них есть собака, и она, ухоженная, сидит перед ними, или кошка, предельно утончая тишину, тем временем тянется вдоль книжных рядов, глядя их боком, как если бы она стирала названия с корешков.

Ах, если бы этого было достаточно: однажды я пожелал бы себе купить такую полную оконную витрину и с собакой засесть за ней на двадцать лет.

* * *

Хорошо вслух сказать: «Еще ничего не произошло». И еще раз: «Еще ничего не произошло». Разве это поможет?

То, что моя печка снова надымилась и мне пришлось выйти, действительно еще никакое не несчастье. И то, что я чувствую себя ослабевшим и простуженным, ничего не означает. А что я целый день бегал по переулкам, тоже моя собственная вина. С таким же успехом я мог бы сидеть в Лувре. Или нет, это исключено. Там известные люди, они приходят погреться. Они сидят на бархатных скамейках, а их ноги, прижимаясь коленками, как огромные порожние сапоги, стоят на решетках отопления. Это крайне скромные люди, и они благодарны, если служители в темных униформах со многими орденами их терпят. Но когда вхожу я, они ухмыляются. Ухмыляются и слегка кивают. И потом, когда и я хожу перед картинами туда-сюда, они не спускают с меня глаз, и я всегда у них в глазах, всегда в этих взболтанных, слившихся глазах. И хорошо, что я не пошел в Лувр. Я все время бродил, безостановочно. Одному небу известно, по скольким городам, кварталам, кладбищам, мостам и переходам. Где-то я видел человека, толкавшего перед собой тележку с овощами. Он выкрикивал: *Chou-fleur, chou-fleur*²⁶, и это *fleur* выдыхалось со своеобразно потускнелым *ей*. Рядом с ним шла угловатая уродливая женщина и время от времени толкала его локтем в бок. И когда она его толкала, он выкрикивал. Иногда он и сам выкрикивал, но тогда его выкрик оказывался ненужным, и ему приходилось перевыкрикивать, потому что они находились как раз перед домом, где покупали. Сказал ли я уже, что он был слеп? Нет? Так вот, он был слеп. Он был слеп и выкрикивал. Я искал бы картину, если сказал бы только это, и утаил бы тележку, которую он толкал, и притворился бы, что не заметил, как он выкрикивал «цветная капуста». Но так ли это существенно? А если это существенно, то не потому ли, что это все значило для меня? Я увидел старого человека, он был слеп и выкрикивал. Это я увидел. Увидел.

²⁵ Улица Сены (фр.).

²⁶ Цветная капуста (фр.).

Разве поверят, что бывают такие дома? Нет, скажут, что я искажаю. На этот раз все – правда, убавить нечего, естественно, и прибавить тоже нечего. Откуда я это взял? Известно, что я беден. Это известно. Дома? Но если быть точным, эти дома были, а теперь их тут уже нет. Дома, но их сломали сверху донизу. Те, что остались, – это другие дома, они когда-то стояли рядом с теми, высокие, соседние дома. По-видимому, они оказались в опасности и могли обрушиться из-за того, что поблизости все снесли; поэтому подпорки из длинных смоленых мачтовых стволов наклонно вколотили одним концом в площадку с развальным мусором, а другим – в выставленную, как напоказ, голую стену. Я не знаю, говорил ли я уже, что имею в виду именно эту стену. Но это, так сказать, не первая, наружная, стена существующего дома (как можно все-таки подумать), а последняя, оставшаяся стена прежнего дома. Виднелась ее внутренняя сторона. Виднелись стены комнат на всех этажах, и на них еще держались обои, тут и там виднелись места стыков стен с полами или потолками. При каждой квартирной перегородке, вдоль всей стены, сверху донизу, еще оставалось грязно-белое пространство, и по нему, несказанно противная, червячно-пухляя, как бы заглатывающими движениями ползла открывшаяся, в ржавых пятнах, борозда от уже снятой сточной трубы.

От путей проводки осветительного газа остались серые пыльные следы по ранту потолков, и они изгибались тут и там, совершенно неожиданно, закруглялись и, добираясь, вбегали в цветную стену, в сквозную дыру, выломанную черно и бесцеремонно. Но самое незабываемое – сами стены. Вязкая жизнь этих комнат не позволила себя раздавить. Она была еще здесь, она держалась на гвоздях, еще кое-где торчавших, она устояла на остатках полов шириной в ладонь, она заползла под стыки углов, где еще оставалась чуточка внутреннего пространства. Это виделось по цвету краски, что медленно, год за годом превращалась: голубая в мутноватую зелень, зелень в серость, а желтизна в старую обшарпанную белизну с подгнилинами. Но белизна виднелась и на сравнительно свежих местах, где некогда висели зеркала, картины, и за шкафами; но ее контуры менялись, повторно вытягивались, и она покрывалась паутиной и пылью на этих прятавшихся местах и теперь уже гольем выставилась напоказ. Она виднелась в каждой открывшейся от хлама полоске, в жирных пузырях по нижнему краю обоев, болталась в оборванных лохмотьях и выпотевала из мерзких пятен, образовавшихся уже давно. И из этих некогда голубых, зеленых и желтых стен, ныне очерченных лишь пазами от разрушенных перегородок, проступал воздух той жизни – стойкий, инертный, засохший воздух, не разгоняемый никаким ветром. В нем застоялись обеды и хвори, и то, чем они надышали, и долголетний чад, и пот, выступавший под мышками и отяжелявший одежду, и преснота из ртов, и сивушная вонь преюющих ног. В нем застоялась едкость мочи и коптящего горения, и серого картофельного пара, и тяжелого липкого смрада испорченного сала. Присутствовал сладковатый давний запах неухоженных сосунков и запах страха детей, кто уже ходит в школу, и удушливый запах от постелей половозрелых мальчиков. И много чего еще к этому добавилось: что поднималось снизу, с испарениями из бездны переулка, и другое, что просачивалось сверху с дождем, всегда нечистым над городами. И иное, что заносили хилые, ручные, одомашненные ветры, те, что, бывает, обживают всегда на одной и той же улице, и много чего еще тут было, неведомо какого происхождения. Я, кажется, сказал, что все стены были уже снесены – все, кроме последней? Про эту-то стену я и говорю все время. Можно подумать, что я долго перед ней стоял; но могу поклясться, что я пустился бежать, едва узнал эту стену. В том-то и весь ужас, что я ее узнал. Я узнаю здесь все, потому-то все входит в меня беспрепятственно: во мне оно – дома.

Я несколько утомился от всего этого, можно сказать, обессилел, и поэтому для меня было бы уж слишком, если бы еще и он меня ждал. Он ждал меня в маленькой *cr  merie*²⁷, где я собирался съесть яичницу; я был голоден, за весь день не удосужился поесть. Но и теперь ничего

²⁷ Кафе-молочная (*фр.*).

не мог бы проглотить; еще прежде, чем приготовили глазунью, меня снова выгнало на улицу, где люди потоком шли мне навстречу. Потому что была Масленица, и был вечер, и у людей было время, и они толпиво спешили по разным местам и терлись друг о друга. И лица у всех полны света, исходившего из балаганов, и смех выдавливался из их ртов, как гной из открытого нарыва. Они смеялись все громче, и чем нетерпеливей я пытался протиснуться вперед, тем плотней они теснились друг к другу. Платок какой-то горничной непонятно как прицепился ко мне, я потащил ее за собой, и люди остановили меня и смеялись, и я чувствовал, что мне тоже надо смеяться, но не мог. Кто-то бросил горсть конфетти мне в глаза, и это обожгло как плетью. На углах люди заклинивались, прибывающие вталкивались в передних, и не получалось никакого продвижения, а лишь медленное, мягкое колыхание вверх и вниз, как если бы они, стоя, спаривались. Но хотя они стояли, а я бежал как сумасшедший по краю проезжей части улицы, где в тесноте отыскивались трещины, в действительности оказывалось так, как если бы они двигались, а я не шевелился. Потому что ничего не менялось; когда я посмотрел вверх, то опять увидел те же самые дома на одной стороне, а на другой ярмарочные балаганы. Может быть даже, все прочно обосновалось на месте, и лишь у меня и у них головокружение, и оно, казалось, все вращает. У меня не было времени подумать об этом, я отяжелел от пота, и во мне кружила отупляющая боль, как если бы в моей крови циркулировало нечто слишком большое – и растягивало жилы при своем перемещении. И при этом я чувствовал, что воздух давно кончился и что я вдыхаю лишь то, что выдыхают мои же легкие.

Но теперь это миновало; я выстоял²⁸. Сажу у себя в комнате при лампе; немного холодно, потому что не отваживаюсь затопить печь; что, если она задымит и мне снова придется выбегать в коридор? Сажу и думаю: не будь я беден, снял бы другую комнату – комнату, где мебель не так подержана, не так переполнена прежними постояльцами, как эта. Сначала я действительно, преодолевая себя, откидывал голову в этом кресле; ведь там, в зеленой обивке, имеется всегдашняя засаленно-серая вмятина, и к ней, кажется, подходят все головы. Долгое время я из предосторожности подкладывал носовой платок себе под волосы, но теперь слишком устал для этого; и пришел к выводу, что обойдусь и так и что небольшое углубление точно сделано по моему затылку, как по мерке. Но не будь я беден, прежде всего купил бы себе хорошую печку и топил бы чистыми, крепкими дровами, привезенными с гор, а не этими безутешными *têtes-de-moineau*²⁹, когда от чада дыхание становится таким боязливым, а мысли путаются. И тогда непременно был бы кто-то, кто без грубого шума делал бы уборку и озабочился бы топкой, какая мне нужна; потому что часто, когда я четверть часа вынужденно стою перед печкой на коленях и тормошу огонь, кожа на лбу напрягается от близкого горения, и вместе с жаром, бьющим в открытые глаза, в трубу вылетают все силы, накопленные для целого дня, и когда потом оказываюсь среди людей, они, естественно, этим пользуются. Иногда, если большая давка, я брал бы пролетку, чтобы проехать мимо толпы, я бы ежедневно ел у Дюваля...³⁰ и никогда не тащился бы в *crémèries*... А бывал ли он вообще когда-нибудь у Дюваля? Нет. Там бы ему ждать меня не позволили. Умиравших туда не пускают. Умиравших? Я сижу сейчас в своей каморке; могу попытаться спокойно обдумать то, с чем столкнулся, что увидел. Это хорошо – ничего не оставлять в неопределенности. Итак, я вошел и сначала лишь увидел, что стол, где я обычно сидел, уже кто-то занял. Я приветливо кивнул в сторону небольшого буфета, прося подойти, и сел рядом. Но тут я его почувствовал, хотя он не шевелился. Почувствовал именно его неподвижность и сразу ее воспринял. Связь между нами установилась, и я знал, что он оцепенел от ужаса. Знал, что ужас его парализовал, ужас перед чем-то, что в

²⁸ Нем. «... ich habe es überstanden»; ср. с фразой Рильке из «Реквиема графу Вольфу Калькрейту», которую, как писал Готфрид Бенн («Выражение мира», 1949), «мое поколение никогда не забудет»: «Wer spricht von Siegen – Überstehn ist alles!» (Что нам победа? Выстоять хотя бы!).

²⁹ Букв.: «воробьиные головы» (фр.) – измельченный каменный уголь.

³⁰ Имя владельца сети недорогих ресторанчиков, статусом выше, чем *crémèrie*.

нем произошло. Может быть, в нем лопнул какой-то сосуд; может быть, яд, которого он долго боялся, именно сейчас вступил в желудочек сердца; может быть, у него в мозгу взошла огромная опухоль, как солнце, – и мир для него сразу преобразился. С неопишым напряжением я принудил себя посмотреть на него, так как еще надеялся, что все это – плод моего воображения. Но произошло так, что я вскочил и бросился прочь; потому что не ошибся. Он сидел там в толстом черном зимнем пальто, и его серое, напряженное лицо глубоко накренилось в шерстяной шарф. Рот был закрыт, как если бы сомкнулся с большой силой, но нельзя твердо сказать, видели или не видели его глаза: запотелые, дымчато-серые стекла очков лежали на переносице и слегка дрожали. Крылья носа расправлены, длинные волосы над висками, уже достаточно поубавленные, увяли, как при большой жаре. Уши длинные, желтые, с большими заушными тенями. Он знал, что теперь отдалился от всего, не только от людей. Еще мгновение, и все потеряет смысл: и этот стол, и чашка, и стул, в который он вцепился, – все дневное и ближайшее станет непонятным, чужим и тяжелым. Так он сидел там и ждал вплоть до того, как это произошло. И уже не сопротивлялся.

А я еще сопротивляюсь. Сопротивляюсь, хотя знаю, что сердце у меня уже накренилось и я уже не могу жить, даже если мои мучители теперь от меня отстанут. Я говорю себе: ничего не произошло, но ведь я смог понять того человека лишь потому, что во мне самом что-то опережает меня, что-то начинает меня от всего отдалять и отторгать. Как страшило меня всякий раз, когда слышал, как про умирающего говорили: он уже никого не узнает. Тогда я представлял себе одинокое лицо того, кто приподнимается из подушек и ищет хоть что-то знакомое, ищет что-то однажды уже виденное, но ничего этого нет. Не будь мой страх столь велик, я бы утешился тем, что не так уж и невозможно – все видеть по-иному и все-таки жить. Но боюсь, боюсь этого невыразимо-безымянного изменения, иного. Я ведь еще совсем не вжился в этот мир, но мне кажется, что он хороший. Что мне делать в ином? Я охотно остался бы среди значений и смыслов, ставших мне дорогими, и если уж нечто существующее должно стать иным, то я хотел бы все-таки жить, по крайней мере среди собак: у них родственный с нами мир и те же самые вещи.

Еще какое-то время я могу обо всем этом писать и говорить. Но наступит день, когда моя рука будет далеко от меня и когда сообщу ей, что написать, она напишет слова, но не те, что я не имел в виду. Настанет время иных толкований, и не останется слова на слове³¹, и всякий смысл растворится, как облако, и сойдет, как вода. При всем моем страхе я все-таки – как некто, кто стоит перед чем-то огромным, и я вспоминаю, что раньше со мной происходило нечто подобное, прежде чем я начинал писать. Но на этот раз написан буду я сам. Я – впечатление, которое претворится. О, недостает совсем малого, и я бы мог все это понять и одобрить. Лишь один шаг, и моя безысходная горестность стала бы блаженством, но не могу сделать этот шаг, я упал и не могу больше подняться, потому что сломлен. Я ведь все еще верил, что может прийти некая помощь. Здесь лежит передо мной, в моем собственном писании, то, что я читал как молитву, вечер за вечером. Я это взял из книг, где это нашлось, и это стало мне еще ближе и возникло под моей рукой, как мое собственное. И сейчас я хочу это написать еще раз, здесь, стоя на коленях перед моим столом, хочу это написать; потому что тогда это пребудет со мной дольше, чем когда это читаю, и каждое слово продлится, и у него хватит времени, чтобы затихнуть.

> Mécontent de tout et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m'enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âmes de ceux que j'ai aimés, âmes de ceux que j'ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde; et vous. Seigneur mon Dieu! accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent

³¹ Отсылка к Евангелию от Марка, 13, 2: «...так что не останется здесь камня на камне».

à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise <³².

* * *

> Чада беспутных и презираемых людей, кои были самыми ничтожными на земле. Ныне же я сделался их игрою на струнах и принужден быть их пересудой.

...они проложили через меня свой путь...

...было им так легко – повредить мне, что никакой помощи им не понадобилось.

...ныне же изливается моя душа через меня, и меня сцапало горестное время.

Ночью пробуравливает мои кости повсюду; и те, кто меня гонит, не ложатся спать.

Выбиваясь из сил, я становлюсь иным и одет иначе; а меня опоясывают этим, как прорехою моего платья...

Мои внутренности кипят и не перестают; меня одолело горестное время...

Моя арфа стала жалобой, и моя дудка – плачем <³³.

* * *

Врач меня не понял. Ничего. Это ведь и трудно рассказать. Хотят попробовать лечить электричеством. Хорошо. Я получил листок бумаги: я должен быть около часа в Salpêtrière³⁴. Я там был. Мне пришлось долго идти мимо всяких бараков, через какие-то дворы, где тут и там люди в белых чепцах, как арестанты, стояли под пустыми деревьями. Наконец я вошел в длинное, темное, вроде коридора, помещение: по одной стороне – четыре окна с мутными зеленоватыми стеклами, разделенные широкими черными простенками. По всей длине тянулась деревянная скамейка; и на ней, дожидаясь вызова, сидели они, те, для кого я был своим. Да, тут только они и были. Когда привык к сумеркам помещения, заметил, что среди тех, кто сидел плечом к плечу в бесконечном ряду, могли оказаться и некоторые другие люди, маленькие люди – ремесленники, служанки, ломовые извозчики. В торце коридора, переговариваясь между собой, на отдельных стульях раздались вширь две толстые женщины, по всей видимости, консьержки. Посмотрел на часы: без пяти час. Итак, через пять или, скажем, через десять минут моя очередь, то есть не так уж и страшно. Воздух скверный, тяжелый, полный запахов одежды и дыхания. Возле известного места из дверной щели бил в нос резкий, усиленный холод эфира. Я начал ходить взад-вперед. Мне пришло на ум, что меня сюда направили вместе с этими людьми, в этот всегда переполненный общий приемный час. Это, так сказать, первое публичное подтверждение, что я принадлежу к отбросам; увидел ли это врач, глядя на меня? Но ведь его я посетил в мало-мальски хорошем костюме, послал ему свою визитную карточку. Несмотря на это, он каким-то образом обо всем догадался, может быть, я сам себя выдал. Теперь, когда это стало фактом, я тоже не находил в этом ничего дурного; люди сидели спокойно и не обращали на меня внимания. Кого-то мучила боль, и он, чтобы ее облегчить,

³² Отрывок из стихотворения в прозе Ш. Бодлера «В час утра»: «Недовольный всеми, недовольный собой, я хочу искупить свою вину и возгордиться в ночной тиши и одиночестве. Души тех, кого я любил, души тех, кого я воспел, укрепите меня, выручите меня, отведите от меня ложь и испарения развращающего мира; а Ты, Господь Бог мой, ниспошли милость и дозвошь сочинить несколько прекрасных стихов, которые мне самому докажут, что я не последний из людей, что я не ниже тех, кого презираю» (пер. с фр. Валерия Семенко).

³³ Из пояснений Рильке: «Книга Иова: отдельные отрывки стихов из главы 30; но по старым изданиям лютеровской Библии; в более поздних изданиях некоторые выражения ослаблены: например: “облачен прорехой моего платья...”». У Лютера «bekleidet mit dem Loch meines Rocks», а «отдельные отрывки» взяты из Книги Иова, 30: 8–31.

³⁴ Сальпетриер – клиника в Париже (рядом с Ботаническим садом), впервые применившая электротерапию для лечения психических расстройств. З. Фрейд учился там с 1885 по 1886 г. вместе с неврологом (неврологом) Ж.-М. Шарко, изобретателем «душа Шарко».

слегка покачивал ногой. Некоторые из мужчин уткнули головы в сплюснутые ладони, другие глубоко, как в нору, зарылись в них тяжелыми, измятыми лицами. Толстый человек с красной опухшей шеей сидел, склонившись и уставившись в пол, и время от времени прищепывал плевки к пятну, которое ему казалось для этого подходящим. В углу всхлипывал ребенок; свои длинные худые ноги он подтянул к себе на лавку и теперь обхватил их руками и прижал к себе, как если бы с ними прощался. У маленькой бледной женщины в креповой шляпе, украшенной круглыми черными цветами и косо сидевшей на волосах, застыла гримаса усмешки на скудных серых губах, но ее израненные веки постоянно слезились. Недалеко от нее посадили девушку с круглым гладким лицом и выпученными глазами – без всякого выражения; рот у нее открыт, так что виднелись белые, в слюне, десны и старые, закахшие зубы. И много бинтов. Бинтов, которые покрывали всю голову, слой за слоем, пока не оставался единственный глаз, и он никому больше не принадлежал. Бинтов скрывающих и бинтов показывающих, что под ними. Бинтов развязанных, и где теперь, как в грязной кровати, лежала рука и была уже никакой не рукой; или перебинтованная нога, и она выступала из ряда, огромная, как целый человек. Я ходил взад-вперед и старался успокоиться. Занялся противоположной стеной. Заметил, что там несколько одностворчатых дверей и что стена не достигает потолка, а значит, коридор не полностью отделен от помещений, примыкавших к нему. Посмотрел на часы; я ходил взад-вперед уже час. Какое-то время спустя, пришли врачи. Сначала несколько молодых людей проследовали мимо с равнодушными лицами, наконец появился тот, у кого я был, – в светлых перчатках, *chapeau à huit reflets*³⁵, в безукоризненном летнем пальто. Увидев меня, он слегка приподнял шляпу и рассеянно улыбнулся. Появилась надежда, что меня скоро вызовут, но прошел еще час. Не могу вспомнить, как его провел. Он пропал. Ко мне приблизился пожилой человек в запятнанном фартуке, вроде санитаря, и коснулся моего плеча. Я вошел в одну из боковых комнат. Врач и молодые люди сидели вокруг стола и смотрели на меня. Мне придвинули стул. Так. А теперь я должен рассказать, что, собственно, со мной. По возможности кратко, *s'il vous plaît*³⁶, так как у господ нет времени. Мне стало особенно неприятно. Молодые люди сидели и смотрели на меня с тем превосходящим квалифицированным любопытством, которому они уже научились. Врач, мне уже знакомый, поглаживал свою черную острую бородку и рассеянно улыбался. Я думал, что расплачусь, но услышал себя, говорящего по-французски: «Я уже имел честь предоставить вам, сударь, всю информацию, какую могу дать. Если вы считаете нужным посвятить во все этих господ, то после нашей беседы вы сумеете изложить это в немногих словах, тогда как мне сделать это весьма трудно». Врач поднялся с вежливой усмешкой, подошел с ассистентами к окну и сказал несколько слов, сопровождая их колебательным, как весы, движением рук. Через три минуты один из молодых людей, близорукий и подвижный, снова вернулся к столу и попытался строго посмотреть на меня: «Вы хорошо спите, сударь?» – «Нет, плохо». После чего он опять вернулся к группе. Там поговорили еще некоторое время, после чего врач обратился ко мне и сообщил, что меня вызовут. Я напомнил ему, что меня вызвали к часу. Он улыбнулся и сделал своими маленькими белыми руками несколько быстрых скачущих движений, означающих, что он чрезвычайно занят. Итак, я снова вернулся в мой коридор, где воздух стал значительно тяжелее, и начал снова туда-сюда прохаживаться, хотя чувствовал себя смертельно усталым. Наконец от влажного, спертого запаха у меня закружилась голова; я остановился около входной двери и немного приоткрыл ее. Я увидел, что на дворе еще послеполуденное время и кое-какое солнце, и мне стало несказанно хорошо. Но не простоял и минуты, как услышал, что меня зовут. Некая особа, сидевшая в двух шагах за маленьким столом, мне что-то прошипела. Кто мне велел открывать дверь? Я сказал, что не мог вынести этот воздух. Хорошо, это мое личное дело, но дверь нужно закрыть. Может быть, не возбраня-

³⁵ Модная в свое время шляпа-восьмиклинка (*фр. букв.* «шляпа с восемью отражениями»).

³⁶ Пожалуйста (*фр.*).

ется открыть окно? Нет, это запрещено. Я снова принялся за вперед-назад-хождение, потому что это, в конце концов, некий вид наркоза и никого не обижает. Но женщине за маленьким столом не нравилось теперь и это. Разве у меня нет никакого места? Да, у меня его нет. Но болтаться не разрешается, я должен поискать себе место. Уж еще одно-то найдется. Женщина права. Действительно, сейчас же нашлось место рядом с девушкой с выпученными глазами. Я сел с чувством, что неминуемо должно случиться нечто страшное. Итак, слева оказалась девушка с гниющими деснами; то, что справа от меня, я узнал лишь через некоторое время. Громадная, неподвижная масса с лицом и огромной, тяжелой, обездвиженной рукой. Сторона лица, видимая мне, пуста, совсем без черт и воспоминаний, и становилось жутковато оттого, что одежда на соседе сидела как на трупе, одетом пред тем, как положить его в гроб. Узкий черный шейный платок подобным же рыхлым безликим образом повязан вокруг воротника, и по пиджаку видно, что он натянута на это безвольное туловище кем-то другим. И рука положена на эту штанину туда, где она лежала и сейчас, и даже волосы причесаны, как причесывают обмывальщицы трупов; и жесткие, как шерсть набитых чучел зверей. Я внимательно все это рассматривал, и мне подумалось, что это и есть то самое место, которое мне предопределено, и поверил, что наконец пришел в тот самый пункт моей жизни, где и останусь. Да, судьба ходит странноватыми путями.

Внезапно совсем близко от меня раздалась, быстро следуя один за другим, ужасные, отбивающиеся крики ребенка, а вслед за ними последовал тихий, сдержанный плач. В то время как я силился понять, откуда это доносится, снова продрожал слабый, подавленный вскрик, и я услышал голоса, что-то вопрошающие, голос, приглушенно что-то приказывающий, а затем заурчала какая-то безразличная машина, не печалась ни о чем. Я сразу вспомнил о той полу-стене, и мне стало ясно, что все исходит с той стороны дверей и что там что-то делают. Действительно, время от времени появлялся санитар в запятнанном фартуке и кому-нибудь кивал. Я совершенно не думал о том, что он мог иметь в виду и меня. Разве это относилось ко мне? Нет. Появились двое мужчин с каталкой; они подняли на нее огромную и неподвижную массу, и теперь я увидел, что это – старый парализованный мужчина и что у него имелась еще другая, поменьше, изношенная жизнью сторона туловища с одним открытым, тусклым и печальным глазом. Его ввели внутрь, и рядом со мной образовалось много места. И я сидел и думал: что же они собираются делать с этой глуповатой девушкой и не закричит ли она тоже? Машины позади меня, за перегородкой, урчали так приятно, по-фабричному, в них не ощущалось ничего настораживающего.

Внезапно все стихло, и в тишине раздался покровительственный, самодовольный голос, который я посчитал знакомым:

«Riez!»³⁷ Пауза. «Riez. Mais riez, riez»³⁸. Я уж смеялся. И не мог объяснить, почему человек там, по ту сторону, не хотел смеяться. Машина снова затарахтела, но сразу умолкла. Последовал обмен словами, после чего послышался тот же энергичный голос – и приказал: «Dites-nous le mot: avant»³⁹. По буквам: «a-v-a-n-t»... Тишина. «On n'entend rien. Encore une fois...»⁴⁰

И когда по ту сторону двери так тепло и губчато лепетали, тогда впервые после многих-многих лет оно снова напомнило о себе. То самое, что вогнало в меня первый глубокий ужас, когда я ребенком лежал в горячке: огромное. Да, так я говорил каждый раз, когда все они стояли вокруг моей кровати, и щупали у меня пульс, и спрашивали, что меня испугало: огромное. И когда они привели доктора, и он уже стоял и говорил со мной, я его просил: пусть он сделает так, чтобы огромное ушло, – и все другое станет ничем, мелочью. Но доктор оказался,

³⁷ Смейтесь! (фр.)

³⁸ Смейтесь. Смейтесь, смейтесь же (фр.).

³⁹ Скажите нам слово «вперед» (фр.).

⁴⁰ Ничего не слышно. Еще раз (фр.).

как все другие. Он не мог это убрать, хотя тогда я был все-таки маленький, и мне, казалось бы, легко помочь. И теперь оно снова возникло, хотя горячки у меня не было. Позднее оно просто отсутствовало, оно не возвращалось даже в горячные ночи, но теперь оно возникло. Теперь оно выростало из меня, как опухоль, как вторая голова, и являлось частью меня самого, хотя оно все-таки не могло принадлежать мне, потому что оно такое огромное. Оно возникло, как большой мертвый зверь, тот, что однажды, когда он еще жил, стал кистью моей руки или всей рукой. И моя кровь проходила сквозь меня и сквозь это огромное, как сквозь одно и то же тело. И моему сердцу приходилось очень напрягаться, чтобы гнать кровь в это огромное: там недоставало крови. И кровь неохотно поступала в это огромное и возвращалась больной и испорченной. Но это огромное разбухало и росло у меня перед лицом, как теплая голубоватая выпучина, и росло у рта, и мой последний глаз уже закрывала тень от его края.

Не могу вспомнить, как выбрался через бесконечные дворы. Уже свечерело, и я заблудился в чужой местности и шел вверх бульварами с бесконечными каменными стенами по обе стороны, и когда у них не оказалось конца, повернул в обратную сторону, назад, к какой-то площади. Оттуда шел по какой-то улице, и попадались другие улицы, куда меня до этого никогда не заносило, и снова улицы и улицы. Иногда мимо проносились яркие трамваи с жестким стучащим звуком. Но на их табличках читались совершенно незнакомые названия. Я не знал, в каком городе нахожусь, и есть ли у меня здесь жилье, и что я должен сделать, чтобы больше никуда не идти.

* * *

И теперь еще эта болезнь, она всегда так своеобразно меня задевала. Я уверен, что ее недооценивают. Точно так же, как преувеличивают значение других болезней. У этой болезни нет определенных особенностей, она принимает особенности тех, кого захватывает. С сомнамбулической уверенностью вытаскивает она из каждого его собственную самую глубокую опасность, ту самую, которая, казалось, уже миновала, и снова ставит ее перед ним, совсем близко, в следующий час. Мужчины, те, кто однажды в школьные годы уже предавались этому беспомощному пороку, где обманутой наперсницей служат жалкие жесткие мальчишеские руки, снова предаются ему, или потерянная блудная привычка снова возвращается, как некий неуверенный поворот головы, свойственный им много лет тому назад. И вслед за этим поднимается вся путаница бессвязных воспоминаний, что как мокрые морские водоросли облепляют утонувшую вещь. Жизни, о чьем существовании никогда бы и не узнал, всплывают и смешиваются с тем, что действительно происходило, и вытесняют прошлое, хотя, как считал, его-то уж ты точно знаешь, – и все потому, что в том, что поднимается, заключена отдохнувшая, новая сила, а то, что всегда оказывалось сверху, уже устало от слишком частых разбередений.

Я лежу в моей кровати, на пятом этаже, и мой день ничем не прерывается, как циферблат без стрелок. Как блудная вещь, что давно потерялась, вдруг в какое-то утро снова лежит на своем месте, ухоженная и хорошая, новая, почти как во время утраты, совсем такая, как если бы за ней кто-то присматривал, – так лежит там и там на одеяле заблудшее и потерянное из моего детства и выглядит как новое. Все, казалось бы, заблудшие и потерянные страхи снова тут как тут.

Страх, что маленькая шерстяная нитка, торчащая из одеяльной каймы, на самом деле жесткая – жесткая и острая, как стальная игла; страх, что эта маленькая пуговица на моей ночной рубашке окажется больше, чем моя голова – большая и тяжелая; страх, что эта хлебная крошка, падающая сейчас с моей кровати, остекленеет и разобьется об пол, и гнетущая тревога, что тем самым, собственно, все разрушится, все, навсегда; страх, что оторванная полоска концовки письма – нечто запретное, чего никто не должен видеть, нечто неопишимо дорогое, для чего в комнате нет достаточно надежного места; страх, что если я засну, то проглочу кусок

угля, лежащий возле печки; страх, что в моем мозгу начнет расти какое-нибудь число – и уже не сможет во мне уместиться; страх, что это гранит, то, на чем я лежу, серый гранит; страх, что я начну кричать и что перед моей дверью сбегутся и в конце концов ее выломают; страх, что я мог бы сам себя предать и рассказать обо всем, чего я боюсь, и страх, что я ничего не мог бы рассказать, потому что все невыразимо, – и еще страхи... страхи.

Я молился о моем детстве, и оно снова вернулось, и я чувствую, что оно все такое же тяжелое, как тогда, и что нет никакого смысла становиться старше.

* * *

Вчера горячка ослабла, и сегодняшний день начался, как весна – как весна на картинках. Попытаюсь пойти в Bibliothèque Nationale к моему поэту, я так давно его не читал, и, может быть, потом медленно побреду по садам. Может быть, почувствуется ветер над большим прудом, где такая настоящая вода и куда приходят дети, пускают свои корабли с алыми парусами и смотрят.

Сегодня я ничего подобного не ожидал, я с такой безоглядной отважностью вышел из дома, как если бы для меня это самая естественная и простая вещь. И все же опять стряслось нечто, что меня подхватило, как бумажку, смяло и отбросило прочь, – да, стряслось нечто неслыханное.

Бульвар St-Michel пустовал и далеко просматривался, и легко шлось по его пологому склону. Крылья оконных створок наверху раскрывались со стеклянным звоном, и блеск их, как белая птица, перелетал через улицу. Мимо проехал экипаж на ярко-красных колесах, а ниже по бульвару шел человек в чем-то светло-зеленом. Лошади, поблескивая сбруей, бежали по мостовой, темной и чистой от поливки. Ветер, возбужденный, неопытный, отзывчивый, поднимал все подряд: запахи, крики, шляпы, звон колокольчика.

Я проходил мимо одного из кафе, где по вечерам играют поддельные цыгане в красном. Из открытых окон крался с нечистой совестью переночевавший воздух. Гладко причесанные кельнеры принялись скрести перед дверью. Один стоял, согнувшись, и горсть за горстью бросал желтоватый песок под столы. Другой, проходя мимо, толкнул его и показал вниз по склону. Кельнер поднял раскрасневшееся лицо, какое-то время пристально смотрел, куда показывали, после чего по его безбородым щекам рассыпался, как если бы его кинули, смех. Он кивнул остальным кельнерам, несколько раз быстро повернул смеющееся лицо направо и налево, чтобы привлечь всех и самому ничего не пропустить. Теперь все стояли и смотрели, вглядываясь или доискиваясь, улыбаясь или сердясь, что они еще не обнаружили, над чем смеяться.

Я почувствовал, что мной понемногу овладевает страх. Что-то толкало меня на другую сторону улицы; но я лишь ускорил шаги и невольно оглядел немногих людей впереди себя – и не заметил ничего особенного. Однако увидел, что один мальчишка-посыльный в голубом фартуке и с пустой корзиной на плече стоит на месте и смотрит кому-то вслед. Насмотревшись вдоволь, он, не двигаясь с места, повернулся к домам и, высмотрев на той стороне смеющегося приказчика, изобразил всем известный жест – покрутил пальцем у виска. Затем он сверкнул черными глазами и, удовлетворенный, вразвалку двинулся мне навстречу.

Я ожидал, что, как только пространство передо мной откроется, увижу какую-нибудь необычную и бросающуюся в глаза фигуру, но обнаружилось, что впереди меня никто не идет, кроме крупного худощавого мужчины в темном летнем пальто и в мягкой черной шляпе на коротких блекло-русых волосах. Я убедился, что ни в одежде, ни в поведении этого мужчины нет ничего смешного, и уже переводил взгляд с него вниз по бульвару, как он обо что-то споткнулся. Поскольку я следовал сразу за ним, я стал внимательней, но когда подошел к тому месту, там ничего не оказалось, ровно ничего. Мы оба пошли дальше, он и я, расстояние между

нами осталось таким же. При переходе через улицу случилось так, что мужчина, шедший впереди меня, для того чтобы сойти с тротуара, вдруг спрыгнул на неодинаково подогнутых ногах, подобно тому, как дети иногда во время ходьбы подпрыгивают или скачут, когда им весело. На другой стороне улицы он просто одним длинным шагом поднялся наверх, на тротуар. Но как только оказался наверху, он немного подтянул одну ногу, а на другой высоко подпрыгнул и сразу после этого еще и еще. Теперь это внезапное движение можно было снова принять за спотыкание, если уверить себя, что там оказалась некая безделица, косточка, скользкая кожура фрукта, что-нибудь; и странно то, что мужчина сам, казалось, верил в наличие помехи, потому что каждый раз не то сердито, не то укоризненно, как все люди в таких случаях, оглядывался на досаждающее место. Еще раз нечто предупреждающее позвало меня на другую сторону улицы, но я не внял и остался позади этого человека, причем все мое внимание обратил на его ноги. Должен признаться, что почувствовал странное облегчение, когда приблизительно двадцать шагов подскакивания ни разу не повторились, но теперь, когда я поднял глаза, то заметил, что у человека возникла другая неприятность. Поднялся воротник у летнего пальто; и как настойчиво он ни старался то одной рукой, то двумя его опустить, у него ничего не получалось. Так бывает. Меня беспокоило не это. А то, что я с безграничным удивлением заметил, что в занятых руках этого человека наблюдалось одновременно два движения: потаенное, быстрое – когда он незаметно поднимал воротник вверх, – и то, другое, подробное, затяжное, даже как бы читающее по слогам движение, когда он старался воротник опустить. Это наблюдение настолько меня смутило, что прошло две минуты, пока до меня дошло, что в шейных мышцах этого человека, под высоко поднятым воротником, и в нервно жестикулирующих руках – то же самое ужасное двусложное подскакивание, оставившее на время его ноги в покое. С этого момента меня к нему как привязали. Я понял, что это подскакивание блуждает в его теле, что оно пробует то здесь, то там вырваться. Я понял его страх перед людьми и сам начал осторожно проверять, замечают ли что-нибудь прохожие. Холодная игла вонзилась мне в спину, когда его ноги выдали небольшой дергающийся скачок, но никто этого не видел, и мне взбрело на ум тоже слегка спотыкаться в случае, если кто-нибудь окажется наблюдательней. Это, конечно, стало бы способом заставить любопытных думать, что на дороге находится маленькая, незаметная помеха и что мы оба на нее случайно наступили. Но пока я таким способом старался ему помочь, он сам нашел новый отличный выход. Я забыл сказать, что он нес палку; итак, он нес в руке обыкновенную палку из неясного дерева и с закругленной рукояткой. И в своем ищущем страхе он придумал приладить эту палку одной рукой (кто знает, для чего еще понадобится вторая) у себя за спиной, как раз вдоль позвоночника, плотно прижав палку к пояснице, а конец круглой загогулины затолкать за воротник, так, чтобы жестко ее чувствовать как упор для позвонков – шейного и верхнего спинного. Это как бы сходило за манеру держать себя, и она не бросалась в глаза и в крайнем случае казалась немного беспшабашной; однако неожиданный весенний день мог это извинить. Никому не взбрело оглядываться, и теперь все шло как надо. Уже при следующем переходе улицы случились два подскока, два небольших, наполовину подавленных подскока, совершенно несущественных, а один действительно очевидный прыжок выполнен так ловко (поперек дороги как раз лежал поливной шланг), что опастаться не стоило. Да, все пока шло хорошо; время от времени другая рука тоже бралась за палку и жестче ее прижимала, и опасность сейчас же снова преодолевалась. Я ничего не мог сделать для того, чтобы мой страх не разрастался. Я знал, что в то время, как человек идет и с бесконечным напряжением пытается выглядеть безразличным и рассеянным, в его теле пугающее подергивание накапливается; во мне тоже появился этот страх, его страх, чувствующий, что оно, подергивание, нарастает и нарастает, и я видел, как он прижимает к себе палку, когда в нем начинается тряска. Тогда действия рук становились такими неумолимыми и резкими, что я всю надежду возлагал на его волю – и она, конечно же, была велика. Но что в данном случае воля? Все же должен был настать момент, когда бы его силы иссякли, и этот момент

приближался. И я, кто шел за ним с сильно бьющимся сердцем, я собирал мои маленькие силы, как гроши, и, глядя на его руки, умолял его, чтобы он взял, если они ему понадобятся.

Я думаю, что он бы взял их; но что я мог поделаться, если больше у меня не было.

На Place St-Michel⁴¹ теснилось много экипажей и спешащих туда и сюда людей. Мы часто оказывались между двумя колясками, и тогда он переводил дыхание и чуть-чуть позволял себе идти, как бы отдыхая, и то, что таилось в нем, чуть-чуть подергивалось и чуть-чуть кивало. Может быть, заключенная болезнь хитрила и таким способом хотела его одолеть. Воля уже надорвалась в двух местах, и эта уступка сохраняла в одержимых болезнью мускулах тихое соблазнительное раздражение и принудительное двухтактное движение. Но палка держалась еще на своем месте, и руки выглядели сердитыми и гневными; так мы вступили на мост, и это началось. Да, это началось. Вдруг появилось что-то неуверенное в походке, вдруг он сделал два резких шага и вдруг застыл. Застыл. Левая рука тихо освободилась от палки и так медленно поднялась вверх, что я видел, как она дрожит в воздухе; он чуть-чуть сдвинул шляпу назад и провел рукой по лбу. Он чуть-чуть повернул голову, и его взгляд поплыл по небу, над домами и водой, не хватаясь, и тогда он уступил. Палка выпала, он раскинул руки, как если бы хотел взлететь, из него вырвалась болезнь, как природная сила, и согнула его вперед, и рванула его назад, и заставила его кивать и наклоняться, и разбросала из него пляшущую силу среди толпы. Потом его обступило много людей, и я его больше не видел.

Идти еще куда-нибудь не было никакого смысла. Я опустошился. Как пустую бумажку, меня потащило вдоль домов, опять вверх по бульвару.

* * *

Пытаюсь Тебе написать, хотя, собственно говоря, это ничего не дает после неизбежного прощанья. Все же пытаюсь, верю, что должен это сделать, потому что видел в Пантеоне⁴² святую, одинокую святую женщину, и крышу, и дверной проем, и в нем масляный светильник со скудным кругом света, и за ними спящий город и реку, и даль в лунном свете. Святая бодрствует над спящим городом. Я плакал. Плакал, потому что все это вдруг произошло так неожиданно. Смотрел и плакал; и не знал, как себе помочь⁴³.

Я в Париже, и кто про это разузнал, радуется, большинство мне завидует. Они правы. Великий город, великий, полный необычных искушений. Что касается меня, то я, должен признаться, в известной мере им поддался. Думаю, по-другому и не сказать. Я этим искушениям поддался, и это привело к известным изменениям если не в моем характере, то в моем мировоззрении, во всяком случае, в моей жизни. Под их влиянием во мне сформировалось совершенно другое понимание всех вещей, и есть известные различия, которые меня отдаляют от людей больше, чем все прежнее. Изменившийся мир. Новая жизнь, полная новых значений и смыслов. В данный момент мне немного тяжело, потому что все слишком ново. Я новичок в моих же собственных обстоятельствах.

Можно ли за один раз обозреть все море?

Да, но только, думаю, я вообразил себе, что Ты могла бы прийти. Может быть. Ты могла бы мне сказать, есть ли врач? Я забыл справиться об этом. Впрочем, мне теперь больше ничего не нужно.

⁴¹ Площадь Сен-Мишель (фр.).

⁴² Храм, где похоронены многие знаменитые люди Франции. Имеется в виду панно французского художника Пюви де Шаванна (1823–1898) «Св. Женевиєва» (1898), которая является покровительницей Парижа и, по преданию, спасла Париж от гуннов.

⁴³ Набросок письма (Примечание Рильке).

Помнишь ли Ты невероятное стихотворение Бодлера *Une Charogne*?⁴⁴ Может быть, теперь я его понимаю. Если не брать последнюю строфу, то он прав. Что ему оставалось делать, когда с ним это стряслось? Его задача – в этом ужасном, только с виду отвратительном, увидеть сущее, то, что значимо для всего сущего. Выбора и отказа не дано. Разве Ты считаешь случайным, что Флобер описал своего *Saint-Julien-l'Hospitalier*?⁴⁵ Мне представляется, что это решающее: может ли человек переступить через себя, лечь к прокаженному и согреть его теплом сердца любовных ночей, что не может кончиться иначе как хорошо.

Только не думай, что я здесь страдаю от разочарований; напротив. Иногда меня удивляет, с какой готовностью я отказываюсь от всего чаемого ради действительного, даже если оно хуже некуда.

Бог мой, если бы оказалось возможным хоть что-то из этого с кем-то разделить. Но *было* бы оно тогда, *было* бы оно тогда? Нет, оно *существует* лишь ценою одинокой жизни.

* * *

Существование ужасного в каждой частице воздуха. Ты вдыхаешь его прозрачным, невидимым; однако в тебе оно оседает, становится твердым, принимает острые геометрические формы и застревает между органами; потому что все, что в муках и ужасе совершалось на месте казней, в пыточных камерах, в сумасшедших домах, в операционных палатах, под арками мостов поздней осенью, – все это из разряда упорно нескончаемого и непреходящего, все это сохраняется и, ревнуя ко всему сущему, налипает на кошмарную действительность, явь. Люди хотели бы многое из этого забыть; сон мягко заглаживает у них в мозгу такие борозды, но сновидения оттесняют сон и тащат за собой неизгладимые зарисовки. И люди просыпаются, и тяжело дышат, и заставляют свет свечи растворяться во мраке, и пьют, как подслащенную воду, это полуосвященное успокоение. Но ах, на какой узкой кромке держится эта безопасность. Всего лишь ничтожный наклон, и взгляд уже снова оказывается за пределами знакомого и дружественного, и только что столь утешительный контур отчетливей проявляется, как край бездонного страха. Бойся света, который делает пространство углубленней; не оглядывайся, не встала ли позади тебя тень, как твой господин. Может быть, лучше бы ты остался в темноте и твое ничем не ограниченное сердце попыталось бы стать тяжелым сердцем всего неразличимого. Теперь же ты собираешь себя в себе, видишь себя перед собой, утихнувшим на твоих же руках, время от времени неточным движением втягиваешь туда же свое лицо. И в тебе почти нет никакого пространства; и тебя почти успокаивает, что в этой твоей тесноте не может поместиться что-то очень огромное, что даже неслышанное внутри тебя должно довольствоваться твоим масштабом. Но снаружи, снаружи это существует без оглядки на тебя; и если снаружи это поднимается, то это наполняет и тебя тоже; наполняет не сосуды (они отчасти в твоей власти) или флегму твоих невозмутимых органов: это прибывает в капиллярах, трубчато всасывается наверх, в самые крайние ответвления твоего развившегося из неисчислимых побочных развилок бытия. Там поднимается это, там это превышает тебя, идет выше, чем твой дух, где ты спасаешься как в своем последнем прибежище. Ах, и куда же тогда, куда же тогда? Твое сердце изгоняет тебя из самого тебя, твое сердце почти вне тебя, и ты уже стоишь снаружи и больше не можешь вернуться назад. Словно жук, на которого наступили, ты выдавливаешься из самого себя, и твоя совсем маленькая поверхностная твердость и приспособляемость уже не имеют никакого смысла.

⁴⁴ «Пададь» (фр.) – стихотворение Ш. Бодлера из книги «Цветы зла».

⁴⁵ «Легенда о святом Юлиане Странноприимце» Флобера (1876) по мотивам притчи о человеке, который во искупление смертного греха лег в постель к прокаженному.

О, ночь без предметов! О, наглухо закрытое окно, о, заботливо запертые двери; устои старых времен, воспринятые, засвидетельствованные, никогда не понятые до конца. О, тишина на лестничной клетке, тишина в соседних комнатах, тишина высоко под потолком. О, мать: о, ты единственная, кто эту тишину устанавливал когда-то в детстве. Кто берет тишину на себя, говорит: не бойся, это я. У кого есть мужество стать в ночи этой тишиной ради того, кто пугается, кто изнемог от страха. Ты зажигаешь свет, и уже шорох – ты сама, и ты держишь свет перед собой и говоришь: это я, не бойся. И ты ставишь его, медленно, и нет никакого сомнения: это ты, ты – этот свет вокруг привычных душевных вещей, и они здесь без задней мысли, хорошие, наивные, однозначные. И если где-нибудь в стене что-то беспокоит или ступает по половицам, то ты только улыбаешься, улыбаешься, улыбаешься прозрачно на светлом фоне, склонившись над испуганными глазами, которые тебя исследуют, как если бы ты знала тайну каждого полшороха и договорилась с ним и условилась. Равна ли какая сила твоей силе в земном господстве? Смотри: цари лежат в своих кроватках и цепенеют от страха, и никакой рассказчик историй не может их отвлечь. И у бесконечно счастливой груди своей любимицы прочь уползает их боязливость, и они становятся обмякшими и беззвучными. Да, ты приходишь и держишь чудовищное позади себя, и ты – вся перед младенцем; не занавес, который тут или там можно отодвинуть. Нет. Ты как бы обогнала чудовищное по зову, когда он, зов, тебя затребовал. Ты как бы от всего, что могло прийти, вырвалась далеко вперед, и за спиной у тебя лишь твоя спешка, твоя вечная дорога, полет твоей любви.

* * *

Mouleur⁴⁶, мимо чьей лавки прохожу каждый день, вывесил возле своей двери две маски. Лицо молодой утопленницы⁴⁷: с нее сняли гипсовую маску в морге, потому что она красива, потому что улыбалась, потому что она так таинственно улыбалась, как если бы все знала заранее... И под ней – всеми узнаваемое лицо⁴⁸. Этот жесткий узел из туго стянутых мыслей и чувств. Это неумолимое самоуплотнение, жаждущее непрерывно испаряться. Лицо того, чей слух Господь запечатал, чтобы не проникало никаких звуков извне. Чтобы он не приходил в смущение от потускнелости и дряхлости шумов. Он, в ком пребывала их ясность и длительность; чтобы только безмолвные мысли и чувства запечатлевали бы для него мир, беззвучный, напряженный, ожидающий мир, неготовый, мир до сотворения звука.

Завершитель мира: как дождь падает на землю и на воды, безотчетно падает, неумышленно падает – и невидимо и радостно по закону природы снова встает из всего, и поднимается, и парит, и образует небо: так, накапливаясь отовсюду, возносятся из тебя наши плачи и паденья – наши осадки, и так выводешь ты свод мира из музыки.

Твоя музыка: да будет ей позволено быть для всего мира, не только для нас. Да воздвигнут тебе хаммерклави⁴⁹ в Фиваиде⁵⁰, и да поведет тебя ангел к одинокому инструменту через хребты пустынных гор, где покоятся цари, и гетеры, и отшельники. И бросится ввысь и прочь, в страхе, что ты начнешь играть.

И ты изливался бы ввысь рекой, сам река, неслыханно, возвращая Вселенной то, что только Вселенная вынесет. Бедуины проскакали бы вдали, суеверно оглядываясь; а купцы бро-

⁴⁶ Отливщик гипсовых слепков (*фр.*).

⁴⁷ Имеется в виду знаменитая посмертная маска красивой молодой женщины, утонувшей в Сене.

⁴⁸ Речь идет о Бетховене.

⁴⁹ Hammerklavier (*нем. букв.* «клавир молотов») – молоточковое фортепиано XVII–XVIII вв. (потомок клавесина, предшественник рояля); для хаммерклавира Людвиг ван Бетховен (1770–1827) написал свою монументальную 29-ю фортепианную сонату.

⁵⁰ Древнее название Верхнего Египта (в эпоху Птолемея), где в долине Гиза воздвигнуты пирамиды фараона Хеопса (XXVI в. до н. э.).

сились бы наземь, у края твоей музыки, как если бы ты был бурей. Только львы, в отдаленье и порознь, кружили бы глубокой ночью вокруг тебя, напуганные самими собой, под угрозой своей возбужденной крови.

И кто же теперь вернет тебя из своих ушей, разохотившихся и похотливых? Кто выгонит из музыкальных залов продажных и с бесплодным слухом, тех, кто спаривается, но никогда не зачинает? Ибо семя излучается, а они внизу ведут себя как шлюхи и забавляются им, или в то время как они лежат, имитируя ничем не вызванное удовлетворение, оно падает, как семя Онана⁵¹, между всеми ними.

Но где, о властелин, девственный слух отдался бы твоей музыке, он умер бы от блаженства или забеременел бесконечностью, а его оплодотворенный мозг должен был бы взорваться от громогласных родов.

* * *

Я не могу это недооценивать. Знаю, тут требуется мужество. Но предположим на мгновение, что у кто-то есть этот *courage de luxe*⁵², высший кураж – пойти за ними, чтобы навсегда узнать (ведь кто бы мог снова это позабыть или перепутать?), куда они потом заползают, и что они делают во многие остальные дни, и спят ли они ночью. Особенно бы установить: спят ли они. Но и с мужеством еще не все ясно. Поскольку они приходят и уходят не так, как остальные люди, за кем идти следом проще простого. А эти и здесь, и снова их нет, поставлены и убраны, как оловянные солдатики. Места, где их находят, несколько удалены, но совсем не спрятаны. Кусты отступают, дорога немного поворачивает к лужайке: там они стоят, и вокруг них полно прозрачного пространства, как если бы они стояли под стеклянным колпаком. Ты мог бы считать, что они – задумчивые гуляющие, эти невзрачные мужчины небольшого роста, во всех отношениях скромного телосложения. Но ты заблуждаешься. Видишь ли ты левую руку, как она что-то берет в перекошенном кармане старого летнего пальто; как она находит, и неуклюже вынимает маленький предмет, и держит в воздухе так, что это бросается в глаза? Не прошло и минуты, как сюда прилетели две-три птицы, воробьи, и с любопытством, прыг-прыг, припрыгали. И если затем человеку удастся соответствовать их, воробьев, очень точному пониманию неподвижности, то нет никакой причины, почему бы им не приблизиться еще ближе. И наконец вспархивает первый воробей и нервно трепещет некоторое время на высоте той руки, которая предлагает (Бог знает) небольшой кусочек обкусанного сладкого хлеба – на невзыскательных, выразительно отрекающихся пальцах. И чем больше людей вокруг него собирается – естественно, на соответствующем расстоянии, – тем меньше он имеет к ним отношение. Он стоит там, как светильник, когда он догорает и светит огарком фитиля, и весь еще теплый, и ни разу не шевельнется. И как он манит, как приманивает, совсем не могут оценить стайки маленьких глупых птиц. И не окажись зрителей, и позволь ему стоять там достаточно долго, я уверен: вдруг появился бы ангел и преодолел себя, и съел давний сладковатый кусочек из опечаленной руки. Но перед ним на дороге, как всегда, стоят люди. Они заботятся о том, чтобы прилетали только птицы; они находят это более чем достаточным и утверждают, что он сам ничего другого и не ожидает. Чего еще могло бы ожидать это старое, залитое дождем чучело, с небольшим наклоном воткнутое в землю, как снятая с носовой части корабля фигура, какие порой видишь в маленьких садах у нас дома⁵³; разве у него эта осанка не оттого, что когда-то

⁵¹ *Онан* – библейский персонаж.

⁵² Высшая смелость, отвага, кураж (*фр.*).

⁵³ «Так называемые галион-фигуры, галионы: вырезанные и покрашенные человеческие фигуры на выступающей носовой части барки. Капитаны в Дании иногда устанавливают фигуры, снятые со старых барок, в своих садах, где они выглядят довольно странно» (*Из пояснений Рильке*).

и где-нибудь в своей жизни он стоял впереди, там, где движение самое мощное? Разве сейчас он такой выплывший не потому, что когда-то был ярким? Ты хочешь его спросить?

Только ни о чем не спрашивай женщин, когда видишь, что они кормят птиц. За ними можно даже пойти следом; они это делают мимоходом, как если бы это совсем легко. Но оставь их в покое. Они не знают, как это получилось. Вдруг у них в ручной сумке оказалось много хлеба, и они извлекают из своей протертой мантильи большие куски, куски слегка обкусанные и влажные. Это им приятно, что немножечко их слюны попадает в мир, что маленькие птицы с этим привкусом летают вокруг, даже если они этот привкус сейчас же забывают.

Я сидел за твоими⁵⁴, своенравный, книгами и пытался составить о них мнение, как и другие, кто не сосредоточивается на тебе, а приняв какую-то их часть, тем и удовлетворен. Тогда я еще не понимал, что такое слава, что это публичное разрушение возводимого, когда на строительную площадку врывается толпа, передвигая камни с места на место.

Неведомый молодой человек, если в тебе набирает высоту нечто такое, что заставляет тебя содрогаться, постарайся, чтобы тебя никто не знал. И когда они тебе возражают, те, кто тебя считает ничем, и когда они тебя не видят в упор, те, с кем ты общаешься, и когда они хотят тебя истребить за твои милые мысли, – ну что она, эта отчетливая опасность, скрепляющая тебя в тебе самом, по сравнению с лстивой враждебностью поздней славы, той, что тебя измельчит и обезвредит, рассеивая в пустую пыль.

Никого не проси говорить о тебе, даже с презрением. И когда придет время и увидишь, что твое имя на слуху, не воспринимай это серьезней, чем все, что исходит из людских уст. Думай: оно, имя, стало плохим, и сбрось его. Прими другое какое-нибудь, чтобы Бог мог тебя позвать в ночи. И таи его ото всех.

Ты самый одинокий из одиноких, самый отстраненный из отстраненных – как они настигли тебя, благодаря твоей славе. Как далеко то время, когда они основательно ополчились против тебя, а теперь обращаются с тобой как с ровней. И твои слова они возят с собой в тесных клетках своего невежества и на площадях выставляют их напоказ и осторожно дразнят их с безопасного расстояния. Всех твоих ужасающих хищных зверей.

Когда я читал тебя в первый раз, тогда они, твои слова, вырвались на волю и бросились ко мне в моей пустыне, отчаявшиеся. Отчаявшиеся, как ты сам в конце, ты, чей путь неверно обозначен на всех картах. Как прыжок, прошла твоя траектория через все небо, эта безнадежная гипербола твоего пути, когда он лишь один раз обогнул нас и удалился – в ужасе. Какое тебе дело до того, останется женщина или уйдет, закружится у кого-то голова или кто-то сойдет с ума, и окажутся ли мертвые живыми, а живые мертвыми: какое тебе дело? Все это стало таким естественным для тебя; ты прошел это, как проходят переднюю, не задерживаясь. Но ты пребывал и склонялся там, где все, что происходит с нами, варится, и выпадает в осадок, и изменяет цвет, – глубоко внутри нас самих. Еще глубже, чем там, где когда-то побывал уже некто (то есть ты); дверь перед тобой распахнулась, и ты оказался в колбе, в свете огня⁵⁵. Оказался там, куда ты никого никогда не брал, недоверчивый. Там ты сидел и отмечал различия в переходных состояниях. И там, поскольку указания тебе давались в крови, а не через картины или речь, там ты принял невообразимое решение: то мельчайшее, что сам сначала обнаружил только при помощи стекол, теперь, надеясь уже только на себя, увеличить так, чтобы оно предстало перед тысячами, исполинское, перед всеми. Возник твой театр. Ты не мог ждать, когда эту почти лишенную пространства, столетиями спрессованную в капельки жизнь обнаружат другие искусства, и сначала она станет зримой для единиц, тех, кто мало-помалу самостоятельно подберется к ее пониманию и наконец захочет сообща увидеть подтвержденной

⁵⁴ Имеется в виду *Генрих Ибсен* (1828–1906) – норвежский драматург («Пер Гюнт» и др.), считал, что «быть писателем – значит править суд над самим собой».

⁵⁵ «...Именно там, где происходит самое тайное в химии жизни, ее превращения и выпадения в осадок» (*Из пояснений Рильке*).

сиятельную молву уже на распахнутой перед ним сцене⁵⁶. Этого ты не мог дожидаться, ты пребывал там, внутри, тебе требовалось то, что едва можно измерить: чувство, когда оно поднялось на полградуса, угол отклонения почти ничем не отяжеленной воли, как только ты считал его с двух шагов, легкое помутнение в капле тоскующей страсти и ничтожно малое, ничто – в изменении цвета в одном атоме доверия: ты вознамерился это установить и удержать; потому что в таких процессах заключалась жизнь, наша жизнь, та, что в нас проскользнула, перетекла внутрь, и так глубоко, что об этом едва ли уже имелись предположения и догадки.

Будучи таким, каким ты был, настроенным на выявление, о вневременный трагический поэт, ты не мог не преобразовать в один присест эту капиллярность в самые убедительные жесты, в самые наличные вещи. Потом ты перешел к беспримерному силовому воздействию твоего творчества, поскольку оно все более нетерпеливо, все более отчаянно искало среди очевидного эквиваленты для видимого внутри. Там оказался кролик, и чердак, и зал⁵⁷, где некто ходит взад-вперед; звон разбитого стекла в соседней комнате, пожар за окном, там светило солнце. Там виднелись церковь и скалистая долина на равных с церковью. Но этого тебе не хватало; и вот уже появились башни и целые горные системы; и лавины, и они погребли эти ландшафты, засыпали сцену, и так уже перегруженную реально осязаемым, – ради непостижимого. Там, внутри, ты больше уже ничего не мог. Оба конца, которые ты пригнул друг к другу, мгновенно отпружинили; твоя обезумевшая сила вырвалась из эластичного стержня, и твоего труда как не бывало.

Как иначе уразуметь, почему в последние минуты ты не отходил от окна, своевольный, каким оставался всегда. Ты хотел видеть проходящих мимо, поскольку тебе пришла в голову мысль: нельзя ли в один из дней что-нибудь из них сделать, если, не откладывая, приступить.

* * *

Тогда я прежде всего уловил, что никто не в состоянии ничего рассказать об одной женщине; я заметил, как они, рассказывая о ней, экономно ее приберегали, как они называли и описывали других, домашних и окружение, местечки, предметы, все вплоть до определенной точки, где все мягко и как бы осторожно замыкалось легким, никогда не прорисованным контуром, который ее со всех сторон запирает. «Какая она была?» – спрашивал я. «Блондинка, приблизительно такая же, как ты», – говорили они и перечисляли немало всякого, о чем они только знали. Но за всем этим она опять оставалась совершенно неопределенной, и я не мог больше ничего себе представить. *Видеть*, в сущности, я мог ее только тогда, когда тамап рассказывала мне одну историю, и я снова и снова требовал ее повторить.

– И тогда, доходя до сцены с собакой, она всякий раз закрывала глаза, и совсем замкнутое, но все на просвет лицо как-то убедительно держала между ладоней, холодно прикасаясь к вискам кончиками пальцев. «Я это видела, Мальте, – заклинала она. – Я это видела».

Это происходило уже в последние годы, когда я от нее услышал этот рассказ. В то время, когда она уже никого не хотела видеть и всегда, даже путешествуя, носила при себе небольшое с мелкими ячейками серебряное ситечко и через него процеживала всякое питье. Твердой пищи она уже давно не признавала, разве что иногда съедала немного бисквита или хлеба, но даже их, когда оказывалась одна, мельчила и крошку за крошкой ела, как крошки едят дети.

⁵⁶ «Жизнь, нашу теперешнюю жизнь, сценически едва ли можно изобразить, так как она совершенно ушла в невидимое, внутреннее, сообщает нам о себе лишь посредством “сиятельных слухов”; но драматург не мог ждать, пока она станет видимой; он должен был оказать на нее давление, на эту, еще не выявившуюся жизнь; поэтому его завершающий труд в конце вырвался у него из рук, как слишком согнутый в дугу прут, и предстал как недоделка. – Ибсен провел свои последние дни у окна, с любопытством наблюдая за проходящими мимо и в известной степени путая этих реальных людей с теми образами, которые он хотел создать и относительно которых он не был уверен, что он их действительно создал» (*Из пояснений Рильке*).

⁵⁷ ...кролик, чердак, зал... – эти подробности взяты из драм Ибсена «Дикая утка» (1884) и «Привидения» (1881).

Страх перед иглами владел ею в то время уже полностью. Домашним она говорила, чтобы как-то оправдаться: «Я уже абсолютно ничего не переношу, но это не должно вас беспокоить: несмотря ни на что, я превосходно себя чувствую». Но она могла вдруг обратиться ко мне (так как я немножко уже подросток) и с улыбкой, требовавшей от нее немалых усилий, сказать: «Как же все-таки много иголок, Мальте, и везде-то они лежат, и, если подумать, как же легко они выпадают...» Она старалась сказать это как бы в шутку, но ужас заставлял ее вздрагивать при мысли обо всех плохо закрепленных иглах, готовых в любое мгновение где-нибудь и куда-нибудь упасть.

Но когда она рассказывала про Ингеборг, тогда с ней ничего не могло случиться; тогда она себя не берегла; тогда говорила громче, тогда смеялась, вспоминая смех Ингеборг, тогда я и мог себе представить, до чего красива Ингеборг. «Она всех нас радовала, – говорила она. – Твоего отца тоже, Мальте, в буквальном смысле радовала. Но тогда, когда стало ясно, что она умрет, хотя она казалась лишь немного прихворнувшей, и мы все ходили вокруг и это скрывали, однажды она села в кровати и сказала вслух так, как говорят, когда хотят услышать, как это звучит: “Вам не надо так крепиться из-за меня; мы все это знаем, и я могу вас успокоить: это хорошо, что так будет, я больше не могу”. Представь себе, она сказала: “я больше не могу”; она, которая всех нас радовала. Поймешь ли ты это когда-нибудь, когда вырастешь, Мальте? Подумай об этом, тогда, может быть, тебя осенит. Было бы совсем хорошо, если найдется хоть кто-нибудь, кто понимает такие вещи».

«Такие вещи» занимали маман, когда она была одна, а в эти последние годы она всегда была одна.

«Я-то никогда не додумаюсь до этого, Мальте, – говорила она иногда со своей своеобразно бесстрашной улыбкой, не предназначенной ни для кого лично, и она полностью достигала своей цели, когда так улыбалась. – Но почему никого не прельщает это – нащупать и понять; если бы я была мужчиной, да, именно, если бы я была мужчиной, я бы об этом подумала – в правильной последовательности, по порядку и от самого начала. Поскольку начало все же должно быть, и если за него ухватиться, это всегда уже кое-что. Ах, Мальте, так мы уходим, и мне сдается, что все рассеянны и разбросанны, и заняты, и не очень-то обращают внимание на то, как мы уходим. Как если бы падала звезда, и ее никто не видел, и никто ничего не загадал. Никогда не забывай что-нибудь себе пожелать, Мальте. Желания, от них нельзя отказываться. Я думаю, не бывает никаких исполнений, но бывают желания, которых хватает надолго, на всю жизнь, так что их исполнения просто невозможно дожидаться».

Маман велела поставить наверху, в своей комнате, маленький секретер Ингеборг; я часто видел сидящую за ним маман, поскольку мне разрешалось входить к ней в любое время. Мои шаги полностью заглушались ковром, но она чувствовала меня и протягивала мне руку через левое плечо. Рука была совершенно невесома, и я ее целовал, как распятие из слоновой кости, то, что мне по вечерам подставляли перед сном. За этим низким письменным столом с откидной столешницей она и сидела, как за инструментом. «В нем так много солнца», – говорила она, и действительно, внутри казалось необычно светло от старого желтого лака с нарисованными на нем цветами – всегда один красный и один голубой. А там, где рядом стояли три цветка, между ними располагался фиолетовый цветок, разделявший два других. Эти краски и зеленый цвет узкого горизонтального орнамента в виде выющихся растений потемнели наравне с сияющим фоном, не ставшим, в сущности, светлей. Получилось редкое, приглушенное соотношение тонов, и они находились во взаимных внутренних связях, не выражая их явно.

Маман выдвигала маленькие ящички; все как один пустые.

«Ах, розы», – говорила она и наклонялась немного вперед к неясному запаху внутри, который не весь выветрился. При этом она всегда представляла, что вдруг что-то еще может найтись в каком-то тайном ящичке, но о нем пока никто не знает, и он мог бы податься, если только нажать какую-нибудь потайную пружину. «Вдруг он однажды выскочит, ты сам уви-

дишь», – говорила она серьезно и опасливо и начинала спешно выдвигать все ящики подряд. Но те бумаги, что действительно остались в ящиках, она тщательно сложила и спрятала, не читая. «Я все равно бы ничего не поняла, Мальте, это, наверное, для меня трудно». Она уверила себя, что все для нее слишком сложно. «В жизни нет классов для начинающих, всегда самое трудное то, что от тебя требуют». Меня убеждали, что она стала такой лишь после ужасной смерти своей сестры, графини Оллегард Скиль; по рассказам, она сгорела, когда перед балом, возле зеркала с подсвечником намеревалась по-другому приколоть цветы к волосам. Но в последнее время тамап казалось, что самое трудное – понять Ингеборг.

И теперь я хочу описать историю так, как ее рассказывала тамап, когда я ее просил.

Это было в середине лета, в четверг, после похорон Ингеборг. С площадки на террасе, где пили чай, виделся щипец родовой усыпальницы – между двумя исполинскими вязами. Стол сервировали так, как если бы за ним никогда не оказывалось хотя бы на одну персону больше, и посему мы довольно вальяжно располагались вокруг. Но каждый что-нибудь приносил с собой, книгу или корзинку с работой, так что получалось, что мы даже немного стеснены. Абельона (самая младшая сестра тамап) разливала чай, и все были заняты, передавая друг другу то одно, то другое, только твой дедушка, сидя в своем кресле, смотрел в сторону дома. В этот час обычно ждали почту, и в большинстве случаев ее приносила Ингеборг, поскольку она, отдавая распоряжения на кухне, задерживалась дольше всех. За несколько недель ее болезни мы уже достаточно отвыкли от ее появления, поскольку мы знали, что она не может прийти. Но в этот послеполуденный час, Мальте, когда она действительно больше не могла прийти, – она пришла. Может быть, это наша вина; может быть, мы ее позвали. Потому что, помнится, я сидела и как раз напряженно старалась осмыслить, что же, в сущности, теперь изменилось. И вдруг я не смогла сказать – *что*; я совершенно об этом забыла. Я подняла глаза и увидела, что все повернулись в сторону дома, и не каким-то особенным, бросающимся в глаза образом, а совсем спокойно и буднично в своем ожидании. И тогда (я холодею, Мальте, когда думаю об этом), да простит меня Бог, я уже хотела сказать: «Ну, где же...» Тут Кавалер, как он всегда делал, бросился из-под стола и побежал ей навстречу. Я это видела, Мальте, я это видела. Он побежал ей навстречу, хотя она не появлялась; а для него она появилась. Мы поняли, что он бежит ей навстречу. Дважды он оглядывался на нас, как бы вопрошая. Потом он рванулся к ней, как всегда, Мальте, в точности как всегда, и оказался возле нее; затем он стал прыгать вокруг чего-то, чего там не было, а потом – вверх, к ней, чтобы ее лизнуть, именно так. Мы слышали, как он визжал от радости и как он подскакивал в высоту, многократно, быстро, один прыжок за другим, и действительно могло подуматься, что он закрывает ее от нас своими прыжками. Но вдруг он взмыл, повернулся в воздухе в собственном прыжке, и рухнул на землю со странной неловкостью, и лежал плашмя, и не шевелился. А позади него, из боковой двери дома вышел слуга с письмами. Некоторое время он медлил; ему явно было нелегко подойти, видя выражение наших лиц. Да и твой отец уже дал ему знак переждать. Твой отец, Мальте, не любил животных. Но тут он подошел к собаке, медленно, как мне показалось, и нагнулся над ней. Он что-то сказал слуге, что-то короткое, односложное. Я видела, как слуга резко приблизился, чтобы поднять собаку. Но тут твой отец сам взял Кавалера на руки и пошел с ним, как если бы точно знал куда, в дом.

* * *

Однажды, когда рассказ затянулся почти дотемна, я уже было собрался рассказать тамап *о руке*: в эту минуту я это мог бы. Я уже облегченно вздохнул, чтобы начать, но тут мне подумалось, как хорошо я понял слугу, когда он не смог к ним приблизиться, увидев их лица. И побоялся, несмотря на темноту, выражения лица тамап, когда она увидит то, что видел я. Поэтому еще раз быстро перевел дух, чтобы создалось впечатление, что ничего другого я и не хотел.

Несколько лет спустя, после странной ночи в галерее Урнеклостера, я целыми днями носился с мыслью довериться маленькому Эрику. Но он после нашего ночного разговора совсем от меня закрылся; он избегал меня; думаю, что он меня презирал. И именно поэтому я хотел рассказать ему *о руке*. И представлял себе, как выиграю в его мнении (и мне этого очень хотелось по какой-то причине), если смогу ему вразумительно объяснить, что в действительности пережил. Но Эрик так ловко от меня увиливал, что до этого не дошло. А вскоре после этого мы уехали. И достаточно странно, что впервые (и, увы, только самому себе) рассказываю о случае, оставшемся теперь далеко в моем детстве.

До чего же был я маленьким, глядя отсюда, если стоял в кресле на коленях, чтобы удобнее дотягиваться до стола, на котором рисовал. Все происходило вечером, зимой, если не ошибаюсь, в городской квартире. Стол стоял в моей комнате между окнами, и в комнате не зажигалось другой лампы, кроме той, что освещала мои листы и книгу мадемуазель; а мадемуазель сидела рядом со мной, слегка откинувшись назад, и читала. Она пребывала далеко, когда читала, я вообще не знаю, пребывала ли она в книге; она могла читать часами, редко перелистывала страницы, и у меня создавалось впечатление, что у нее перед глазами страницы всегда полней, как если бы она умозрительно прибавляла слова, определенные слова, ей весьма нужные, если их там вдруг не оказывалось. Так мне это все представлялось, в то время как я рисовал. Я рисовал медленно, без какого-то определенного намерения и все видел, немного скосив глаза вправо, когда не знал, что буду рисовать дальше; так мне быстрее всего приходило на ум, чего еще недостает. Я рисовал офицеров на лошадях, и они скакали в битву, или уже оказались в ней, а это намного проще, потому что тогда остается лишь придумать дым, чтобы он все окутал. Теперь, правда, тамап утверждает, что это возвышались острова, то, что я рисовал; острова с большими деревьями, и замком, и лестницей с цветами по краю, и цветы отражались в воде. Но, скорее всего, это происходило позднее.

Допустим, что в тот вечер я рисовал рыцаря, одиночного, весьма отчетливого рыцаря, на непонятно во что облаченной лошади. Она стала такой цветистой, что мне приходилось часто менять карандаши, но прежде всего бросался в глаза красный, и за него я хватался снова и снова. И вот теперь он снова мне понадобился; вдруг он (я его еще вижу) покатился наискосок по освещенному листу на край и упал, прежде чем я смог его подхватить, пролетел около меня вниз и пропал из виду. Он вправду срочно потребовался, и, конечно, меня сердило, что придется за ним ползти. Неловкий, каким я себя ощущал, я приложил немало усилий, чтобы сползти вниз; мои ноги казались мне слишком длинными, я никак не мог их вытянуть; из-за слишком длительного стояния на коленях мои суставы одеревенели; я не знал, что относится ко мне, а что к креслу. Наконец, несколько сконфуженный, спустился и оказался на звериной шкуре, вытянувшейся под столом до самой стены. Но тут возникло новое затруднение. Приноровленные к свету там, наверху, да еще вдохновленные красками на белой бумаге, мои глаза не могли разглядеть мелочей под столом, где чернота казалась такой плотной, что я боялся на нее натолкнуться. Я положился на мое осязание и на коленях, опершись на левую руку, стал другой, как гребенкой, копать в прохладном, с высоким ворсом ковре, довольно приятном на ощупь; только, увы, карандаш не находился. Я вообразил, что теряю много времени, и хотел уже позвать мадемуазель и попросить ее поддержать лампу, как заметил, что для моих поневоле напряженных глаз темнота становится мало-помалу прозрачней. Я уже мог различить стену со светлым плинтусом понизу; уже ориентировался по ножкам стола; прежде всего опознал мою собственную руку с растопыренными пальцами, руку, что совершенно одиноко, вроде как водяной зверь, тут, внизу, шевелилась и исследовала грунт. Я глядел на нее, как помню, почти с любопытством; мне представилось, как она может делать что-то, чему я ее никогда не учил, как она там внизу самостоятельно шарит, производя движения, каких я у нее никогда не подмечал. Я следил за тем, как она продвигается вперед, мне стало интересно, я был готов к чему угодно. Но разве я мог ожидать, что от стены навстречу моей руке станет приближаться другая рука,

покупней, необычайно худая рука, каких я еще никогда не видел. Она сходным способом что-то искала, приближаясь с другой стороны, и обе руки с растопыренными пальцами слепо двигались одна навстречу другой. Мое любопытство еще далеко не израсходовалось, но внезапно оно исчезло, и остался только ужас. Я чувствовал, что одна из рук принадлежала мне и что она пускается на такое, чего потом уже не исправить. С полным правом, какое на нее имел, я остановил свою руку и потянул ее медленно и плашмя назад, не выпуская при этом из глаз другую руку, которая продолжала искать. Я понял, что она не остановится; не могу сказать, как снова поднялся наверх. Я забился глубоко в кресло; зубы стучали, и кровь так отхлынула от лица, что мне померещилось: у меня в глазах нет никакой синевы. «Мадемуазель», – хотел сказать я и не мог, но она испугалась сама, она отбросила свою книгу и опустилась на колени рядом с креслом; она выкрикивала мое имя; думаю, что она меня даже трясла. Но я пребывал в полном сознании. Я несколько раз сухо сглотнул; и хотел сейчас же обо всем рассказать.

Но как? Я неопишимо напрягался, но ничего не мог выразить так, чтобы кто-нибудь понял. Даже если существовали слова для этого события, то я был слишком мал, чтобы их найти. И внезапно меня охватил страх, что они все же могут, невзирая на мой возраст, вдруг найтись, эти слова, и страшней всего мне казалось то, что их придется сказать. И действительно, испытать то, что случилось под столом, еще раз, по-другому, варьируя, с самого начала; слышать, как сам это передаю, – для этого у меня уже не нашлось сил.

Конечно, это воображение, если теперь утверждаю: уже в то время я чувствовал, что в мою жизнь что-то вошло, прямиком в мою, то, с чем я должен один идти и идти, всегда. Вижу, как лежу в моей маленькой кроватке с решеткой и не сплю, и как-то смутно предвижу, что жизнь будет такая: полна особенных вещей, и они предназначены только для *Одного* и не позволяют себя высказать. Несомненно, что мало-помалу во мне поднималась грустная и тяжелая гордость. Представлялось, как буду расхаживать, преисполненный сокровенным и молчаливым. Я чувствовал неподдельную симпатию к взрослым, восхищался ими и собирался сказать им, что ими восхищаюсь. И собирался сказать это мадемуазель при следующем удобном случае.

* * *

А потом последовала одна из тех болезней, что доказывают: то, что случилось – не первое мое собственное переживание. Лихорадка, надрываясь, копалась во мне и вытаскивала из самой глубины опыты, картины, факты, о которых я не знал; я лежал там, переполненный сам собой, ожидая момента, когда мне будет приказано все это снова уложить в себя слоями, упорядоченно, в последовательности. И я даже подступался, но оно росло у меня под руками, оно сопротивлялось, его оказалось слишком много. Тогда мной овладела ярость, я сваливал в себя все в кучу и прессовал; но – не мог снова закрыться. И тогда я закричал, наполовину открытый, каким оказался, и кричал, и кричал. А когда начал выглядывать из себя, то увидел, что они уже давно стояли вокруг моей кровати и держали меня за руки, и горела свеча, а их большие тени соприкасались позади них, на стене. И мой отец приказывал мне сказать, что со мной. – Приветливый, ненавязчивый, мягкий приказ, но все-таки приказ. И отец становился нетерпеливым, когда я не отвечал.

Мамап никогда не приходила по ночам, – или нет, один раз она пришла. Я кричал и кричал, и мадемуазель пришла, и Сиверсен, экономка, и Георг, кучер; но ничего не помогало. И тогда они наконец послали карету за родителями, уехавшими на большой бал, полагаю, у кронпринца⁵⁸. И вдруг я услышал, как карета въезжает во двор, и утих, сел и смотрел на дверь. И тут легко прошелестело в соседних комнатах, и мамап вошла в необъятном придворном

⁵⁸ Титул престолонаследника в Дании и других европейских монархиях.

бальном платье, и совершенно не обращала на него внимания, и почти вбежала, и откинула за себя белую шубку, и взяла меня на обнаженные руки. И я ощущал, удивленный и восхищенный как никогда, ее волосы и ее маленькое ухоженное лицо, и холодные камни в ее ушах, и шелк, окаймлявший ее плечи, пахнувшие цветами. И мы так оставались, и нежно плакали, и целовались, пока не почувствовали, что отец здесь и что нам нужно оторваться друг от друга. «У него сильный жар», – услышал я, как робко сказала татап, и отец схватил мою руку и стал считать пульс. Он был в егермейстерском мундире с красивой, широкой, голубой муаровой лентой Слона. «Что за нелепость нас звать», – сказал он в комнату, не глядя на меня. Они обещали вернуться, если окажется что-то серьезное. И, конечно, ничего серьезного не оказалось. На своем одеяле я нашел танц-карту татап и белые камелии – таких я еще никогда не видел и положил их себе на глаза, когда ощутил, как они прохладны.

* * *

Но что тянется долго, так это вечера во время таких болезней. По утрам, после плохой ночи всегда клонит в сон, а когда проснешься и думаешь, что еще рановато, то оказывается, что уже вечер, и продолжается вечер, и никогда не кончается вечер. Тогда долго лежишь на прибранной кровати и, может быть, немного растешь в суставах, но слишком устаешь, чтобы о чем-нибудь думать. Вкус яблочного мусса держится долго, и по силам только и оставалось как-нибудь его истолковывать, безотчетно, и заставлять в себе циркулировать очистительную кислотину вместо мыслей. Позднее, когда силы возвращаются, за спиной больного воздвигаются подушки, и можно приподняться и играть в солдатики; но они так легко опрокидываются на скосившийся накрыватный столик, и всегда целыми шеренгами; и ты все-таки еще не полностью в жизни, чтобы снова и снова все начинать сначала. Вдруг тебе надоедает, и ты просишь все быстрее убрать, и тебе снова приятно видеть только свои две руки, немного подальше, на пустом одеяле.

Когда же иногда на полчаса наведывалась татап и читала вслух сказки (для основательного, длительного чтения приходила Сиверсен), то это делалось вовсе не из-за сказок. Мы с ней давно уже сошлись на том, что сказок не любим. У нас другое представление о чудесном. Мы находили, что если бы все происходило с натуральными вещами, то это и стало бы самым чудесным. Нас не очень-то тянуло летать по воздуху, феи разочаровывали нас, а от превращений во что-то иное мы ожидали только очень поверхностного изменения. Но мы все-таки немножко читали, чтобы выглядеть занятыми; все-таки неприятно, если бы кто-нибудь вошел, и нам пришлось бы объяснять, что именно мы делаем; а когда заглядывал отец, мы отчитывались с преувеличенной вразумительностью.

Только если мы убеждались, что нам не помешают и на улице уже смерклось, могло случиться, что мы предавались воспоминаниям, общим воспоминаниям – и они нам обоим казались давними, и мы над ними посмеивались, потому что с той поры мы оба стали большими. Нам вспоминалось то время, когда татап хотела, чтобы я был маленькой девочкой, а не этим мальчишкой, каким я теперь вдруг стал. Я каким-то образом об этом разузнал и пришел к мысли иногда после обеда стучаться к татап. Когда она спрашивала, кто там, счастливо из-за двери выкрикивал: – Софи! – и при этом изнеживал мой негромкий голос так, что у меня першило в горле. А когда входил (в маленьком, похожем на девчоночье, домашнем платье, да к тому же с высоко закатанными рукавами), я для татап становился просто Софи, маленькой Софи, занятой домашними делами и кому татап должна заплести косички, чтобы не перепутать ее со злым Мальте, если он невзначай вернется. Конечно, это совсем нежелательно; и для татап и для Софи приятней, если бы он не возвращался; тем более что их беседы (Софи в таких случаях говорила все тем же высоким голоском) состояли преимущественно в том, что они перечисляли дурные привычки и проделки Мальте и жаловались на него. «Ах, да, этот

Мальте», – вздыхала тамап, а Софи сетовала на плохое поведение мальчиков вообще, как если бы она знала их целую кучу.

«Я, конечно, хотела бы знать, что из Софи получилось», – вдруг говорила тамап во время таких воспоминаний. Мальте, увы, не мог дать никакой справки. Но если тамап заносило до предположения, что она, наверное, умерла, тогда он упрямо возражал и заклинал ее этому не верить, хотя доказать иное тоже не мог.

* * *

Когда я об этом теперь думаю, то могу только удивляться, что из мира этой горячки все-таки выбрался в целости и сохранности и втянулся в общую жизнь, где каждый хотел бы иметь поддержку в чувстве пребывания в знакомом кругу и где так осторожно относишься к самому, казалось бы, понятному. Когда что-то ожидается и приходит или не приходит, третье исключается. Случались вещи печальные, однажды и навсегда; случались приятные вещи и множество побочных. Но уж если кому-то выпадала радость, то и становилась радостью, и счастливчику полагалось соответственно себя вести. В своей основе все очень просто, и если что-то состоялось, то обнаруживалось само по себе. В обусловленные границы входило все: длинные, монотонные школьные часы, когда на дворе лето; прогулки, чтобы заставлять потом рассказывать о них по-французски; визиты, когда тебя зовут и находят тебя смешным, если ты откровенно грустен, и потешаются над тобой, как над мрачной физиономией известной птицы, у которой никакой другой физиономии и не бывает. И, естественно, дни рождений, когда приглашают детей, а ты едва их знаешь, застенчивых детей, и ты из-за них сам становишься застенчивым, или дерзких, и они расцарапывают тебе лицо и ломают подарки, хотя ты только что их получил, и внезапно уходят, опустошив коробочки и ящики и свалив все на полу в кучу. Но если играешь в одиночку, как всегда, может все же случиться, что неожиданно выходишь из согласованного и в общем-то безобидного мира и оказываешься среди иных и совершенно непредвиденных соотношений.

Мадемуазель время от времени страдала мигренью, иногда чрезвычайно острой, и наступали дни, когда меня становилось трудно отыскать. Я знал, что кучера пошлют в парк, если отцу придет в голову спросить обо мне, а меня нет. Как он выбегает и зовет меня в начале длинной аллеи, я мог наблюдать сверху, из одной из гостиных. Располагались гостиные одна возле другой по фасаду Ульсгарда, и поскольку в это время гости наведывались к нам очень редко, эти комнаты почти всегда пустовали. Но к ним примыкало большое угловое помещение, и оно-то меня сильно приманивало. В нем ничего не было, кроме старого бюста, изображавшего, я думаю, адмирала Юэля⁵⁹, но все стены так заставили глубокими серыми стенными шкафами, что над ними даже пришлось пробить окно в пустой беленой стене. Ключ я обнаружил в одной из дверей шкафа, и он подходил ко всем. Так я вскоре исследовал все: камергерские фраки восемнадцатого века, холодные от вотканных в них серебряных ниток, и красиво вышитые жилеты к ним; облачения рыцарей орденов Даннеброга⁶⁰ и Слона⁶¹ – их я поначалу посчитал женскими платьями, настолько они богаты и вычурны и такая у них мягкая

⁵⁹ Йенс Юэль (1631–1700) – датский адмирал, в июле 1677 г. наголову разбил шведский флот в битве в заливе Ке Ге, что считается одной из величайших побед в датской истории; был провозглашен национальным героем и произведен в адмиралы.

⁶⁰ Даннеброг – букв. «знамя датчан»; по преданию, знамя упало с неба на войско датского короля Вальдемара II как знак грядущей победы над язычниками-эстонцами у крепости Линдениссе (на месте нынешнего Таллина, букв. «датский город»); в том же 1219 г. Вальдемар II основал рыцарский орден Даннеброга. Король Христиан V (1670–1699) утвердил новый устав ордена в 1693 г. для узкого круга лиц: принцев крови и пятидесяти рыцарей из числа высших сановников двора. Государственный флаг Дании с 1219 г.: красный цвет полотна, пересекаемый белым крестом.

⁶¹ Рыцарский орден Слона основан датским королем Фредериком II (1559–1588) в честь победы рыцарей-крестоносцев над сарацинами.

подкладка. И еще там висели настоящие женские вечерние платья, кринолины, в расправленном состоянии, жестко, как марионетки слишком большого спектакля, окончательно вышедшего из моды, марионетки, чьи головы сгодились для чего-то другого. Рядом стояли шкафы, где темно, когда их открываешь, темно от высоко застегнутых униформ, выглядевших гораздо изношенней, чем все другое, и желавших только одного – чтобы их больше не хранили.

Никого не удивит, что все это я вытащил и выложил на свет; что и это и то к себе приложил, примерил или накинул на себя; что один костюм, приблизительно мне впору, спешно натянул и в нем, любопытный и возбужденный, побежал в ближайшую комнату для гостей, к узкому стрельчатому зеркалу, составленному из отдельных зеленых кусков стекла разных оттенков. Ах, как трепещешь внутри старинного костюма, и как захватывает, когда знаешь: в нем некогда кто-то находился. Когда нечто из зеркальной потускнелости приблизилось медленней, чем ты сам, поскольку зеркало не сразу поверило и, заспанное, каким оно пребывало, не хотело бездумно повторять то, что ему навязали. Но в конце концов, естественно, пришлось. И теперь в нем предстало что-то ошарашивающее, чужое, совершенно иное, чем предполагалось, что-то внезапное, самостоятельное, на что быстро взглядываешь, чтобы в следующий момент уже опознать самого себя, не без известной иронии, и она почти совсем не портит основательного удовольствия. Но если тотчас же начинаешь говорить, кланяться, если киваешь сам себе, если, непрерывно оглядываясь, отходишь от зеркала, а затем решительно и взволнованно снова подходишь, то фантазия на твоей стороне, пока тебя это занимает.

И я тогда испытал, как можно подпасть под воздействие, исходящее непосредственно от определенного облачения. Едва я надел на себя один из костюмов, как мне пришлось признаться, что он заполучил меня под свою власть; что он предписывал мне движения, выражение лица, даже мысли; моя рука, когда на кисть ниспадала и снова ниспадала кружевная манжета, стала совсем не моей рукой; она двигалась, как актер, да, хотел бы сказать, она глядела сама на себя, любуясь, как бы ни слишком преувеличенно это звучало. Между тем это притворство зашло не настолько далеко, чтобы я сам чувствовал себя отчужденным; напротив, чем изощренней я изменялся, тем убежденнее я становился в самом себе. Я все смелел и смелел и заносился все выше и выше, поскольку, вне всяких сомнений, у меня имелась сноровка в переимчивости. Я не замечал искуса в своей быстро растущей уверенности. Для полноты лишь не хватало, чтобы последний шкаф, где замок, как я думал, не удастся открыть, в последний день все-таки уступил и вместо определенных облачений снабдил меня разнообразными и неясными предметами для маскарада, чья фантастическая неопределенность заставила мои щеки запылать. Невозможно перечислить, сколько там всего обнаружилось. Кроме *bautta*⁶², насколько помню, нашлись домино⁶³ различных цветов; женские юбки, тонко звеневшие от нашитых монет; Пьеро, казавшиеся мне нелепыми, и морщинистые турецкие шальвары, и персидские шапки, откуда выскальзывали небольшие мешочки с камфорой, и ободки корон с чепуховыми, невыразительными камнями. Все эти вещи я немного презирал; они гляделись такой оскуделой недействительностью и ободранно, и жалко болтались и в итоге безвольно обвисали, когда вытаскивались на свет. Но что меня повергло в своего рода опьянение – просторные мантии, платки, шали, вуали, все податливые, обширные, не родственные теперешним шелковые ткани, некогда такие мягкие и ласкающиеся или такие скользкие, что их едва можно было удержать, такие легкие, что они пролетали мимо, как ветер, или просто тяжело ниспадали к ногам. В них я впервые увидел действительно свободные и бесконечно подвижные возможности перевоплощений: стать рабыней, выставленной для продажи, или стать Жанной д'Арк, или старым королем, или чародеем; все теперь имелось под рукой, а кроме того, маски, большие угрожающие или удивленные личины с настоящим бородами и пышными или вздер-

⁶² Венецианская маска, прикрывающая нижнюю часть лица (*итал.*).

⁶³ Маскарадный костюм в виде плаща с рукавами и капюшоном.

нутыми кверху бровями. Я никогда прежде не видел масок, но сразу догадался, зачем маски нужны. Я не мог не засмеяться, когда вспомнил, что у нас была собака, выглядевшая, как если бы она носила маску. Я представил себе ее лохматую морду, милые глаза, всегда как с самого дна заглядывающие внутрь пространства, окруженного забором из собственной шерсти. Я еще раз засмеялся, когда переоделся и совершенно забыл, в кого, собственно, хотел преобразиться. Получалось, что теперь (как это ново и захватывающе!) разобраться можно только задним числом, перед зеркалом. Личина, примеренная мной, пахла своеобразно пусто, она плотно прилегала, но я мог удобно смотреть в прорези и, уже в маске, лишь подбирал к ней различные платки и наматывал их в виде тюрбана на голову, так, чтобы края маски, снизу упрятанные в исполинскую желтую мантию, почти совсем скрывались сверху и с боков. Наконец, когда уже устал, я счел, что достаточно замаскировался. Я схватил огромную трость и, выставив ее вперед, насколько хватало руки, шаркающими шагами, не без усилий, но, как мне казалось, преисполненный достоинства, потащился в гостевую комнату, к зеркалу.

На этот раз вышло действительно великолепно, сверх всяких ожиданий. Зеркало тоже мгновенно среагировало, настолько все оказалось убедительным. И совершенно не требовалось много двигаться; зеркальное видение представлялось совершенным, даже если оно ничего не делало. Но следовало испытать, кого же я, собственно, сейчас представляю, и я повертелся немного и наконец воздел обе руки: величественное, как бы заклинающее движение, и оно, как я сразу отметил, оказалось единственно верным. Но как раз в самый торжественный момент я совсем близко услышал слегка приглушенный моей закутанностью многоступенчато-разный стук; перепугавшись, я потерял из виду потустороннее существо и сильно расстроился, сообщив, что опрокинул небольшой круглый стол с очень хрупкими, только небо знает, для чего предназначенными, предметами. Я наклонился насколько мог, и мое самое худшее ожидание подтвердилось: выглядело так, как если бы все взорвалось. Оба ненужных зелено-фиолетовых попугая, естественно, разбились, каждый на свой злобный манер. Коробка, откуда выкатились конфеты, похожие на шелковистые куколки насекомых, отбросила крышку далеко от себя, да и валялась только ее половинка, другая вообще куда-то улетела. Самое страшное – флакон, разбившийся на тысячи мелких осколков; при этом из флакона выбрызнулись остатки какой-то старой эссенции, из-за чего теперь на светлом паркете образовалось пятно в виде очень противной физиономии. Я быстро вытер пятно чем-то свисавшим с меня, но оно стало еще чернее и неприятнее. Я был в отчаянии. Поднялся и поискал что-нибудь подходящее, чтобы все это исправить. Но ничего не находилось. К тому же я был так стеснен при обзоре и в каждом движении, что стал яростно сопротивляться моему безрассудному положению, тем более что я уже его не понимал. Я дергал за все, но все становилось еще тесней. Шнуры мантии душили меня, а матерчатая ерунда на моей голове давила, как если бы тряпья стало еще больше. При этом воздух стал мутным, как если бы он запотел от состарившихся испарений пролитой жидкости.

Разгоряченный и сердитый, я бросился к зеркалу и сквозь маску с трудом разглядел, как действуют мои руки. Но зеркало меня только и поджидало. Для него настал миг рассчитаться со мной. В то время, как я с безмерно возрастающей подавленностью напрягался, чтобы вырваться каким-либо образом из моей закутанности, зеркало меня вынудило, не знаю уж как, поднять глаза и предписало мне отображение, нет, действительность, чужую, непонятную, монструозную действительность, пропитавшую меня насквозь против моей воли, поскольку теперь оно, зеркало, пересилило меня и зеркалом стал я сам. Я застыл перед кем-то – большим, ужасным, неизвестным, стоящим прямо передо мной, и мне вдруг стало страшно оставаться с ним наедине. Но в тот самый момент, как об этом подумалось, произошло крайнее: я вообще потерял способность ощущать, просто выключился. Секунду еще чувствовал неописуемую, горестную и тщетную тоску по самому себе, потом остался только он один, зеркальный: не было ничего, кроме него.

Я бросился от него бежать, но теперь бегущим стал он. Он везде на что-то наталкивался, он не знал дома, не знал, куда бежать; он попал на лестницу этажом ниже; в коридоре на кого-то упал, и тот с криком из-под него вырвался. Какая-то дверь открылась, и оттуда в спешке вытеснилось несколько человек. Ах, как же было радостно их узнать. Сиверсен, славную Сиверсен, и горничную, и буфетчика: наконец-то все разрешилось. Но они не бросались ко мне и не спасали меня; их жестокость была безгранична. Они стояли поодаль и смеялись. Боже мой, они могли стоять и смеяться. Я плакал, но маска не пропускала слезы наружу, они текли внутри по моему лицу и тут же впитывались, и текли снова и впитывались. И наконец, я упал перед ними на колени, как еще не падал ни один человек; упал на колени и воздел руки к ним и умолял: «Выньте меня, если еще можно, и меня оставьте мной». Но они ничего не слышали; у меня пропал голос.

Сиверсен до конца своей жизни рассказывала, как я упал и как они все еще продолжали смеяться, считая, что есть над чем. Они так привыкли к моим дурачествам. Но я все еще лежал пластом и не отвечал. И объял их страх, когда они наконец поняли, что я нахожусь без сознания и лежу, завернутый во все эти платки, как штука сукна, абсолютно как штука сукна.

* * *

Время шло быстро, не отдавая отчета, и вот уже оно зашло так далеко, что нужно снова приглашать проповедника, доктора Есперсена. Состоялся во всех отношениях утомительный и затяжной завтрак. Привыкший к набожной пастве, при нем всегда робевшей, пастор и раньше чувствовал себя у нас не в своей тарелке; его выбрасывало, так сказать, на грешную землю, и он задыхался. Дышать жабрами, к чему он приспособил себя, получалось с трудом: образовывались пузыри, и целостность оказывалась не в безопасности. Материи разговора, если быть точным, не существовало вообще; распродавались обрезки и остатки по бросовым ценам, шла ликвидация всех запасов. Из-за нас доктору Есперсену приходилось себя суживать, то есть становиться частным лицом; но как раз частным лицом он никогда и не был. Он числился, как он считал сам, по ведомству души. Он считал душу публичным учреждением, представителем коего он являлся, и никогда не выходил из служения, даже в общении со своей женой, «своей скромной, верной, через деторождение спасшей свою душу Ребеккой», как высказался Лафатер⁶⁴ по другому случаю.

(Что же касается моего отца, то его отношение к Богу было, напротив, абсолютно корректным и безукоризненно вежливым. В церкви мне порой казалось, что он прямо-таки егермейстер при Боге, когда он, отец, там стоял, и ждал, и склонял голову. Наоборот, тамап казалось почти оскорбительным, что кто-то мог состоять с Богом в учтивых отношениях. И знай она четкие и подробные религиозные обычаи, она сочла бы за благодать часами стоять на коленях, и бить челом, и осенять довольно размашистым крестом грудь и плечи. Она не учила меня, собственно, молиться, но ее успокаивало, что я охотно вставал на колени и складывал пальцы то крючковато, то торчком, как мне в данный момент казалось выразительней. Надолго оставленный в покое, я рано прошел через целый ряд изменений, но лишь много позднее и во времена отчаяния я соотносил их с Богом, однако с таким усердием, что он образовывался и разбивался на куски почти в один и тот же миг. Ясно, что потом я поневоле начинал все сначала. И при каждом начале иногда думал, что тамап мне очень нужна. Хотя, естественно, правильной свой путь проходить одному. Да и к тому времени она уже давно умерла.)⁶⁵

Напротив, при докторе Есперсене тамап становилась почти шаловливой. Она втягивала его в разговоры, и он принимал их всерьез, и после того, как давал ей возможность вдоволь

⁶⁴ Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801) – швейцарский писатель и теолог.

⁶⁵ В рукописи запись на полях (*Примечание Рильке*).

наговориться, она считала, что этого вполне достаточно, и тут же забывала про него, как если бы он уже ушел. «И как он только может, – говорила она иной раз про него, – разъезжать и заходить к людям, когда они как раз умирают».

Он прибыл к ней по такому же поводу, но она его достоверно больше не видела. Ее чувства прекращались одно за другим, сперва – зрение. Это случилось осенью, уже собирались переезжать в город, но тут она как раз заболела, или, вернее, она начала умирать, медленно и безутешно отмирать по всей поверхности. Прибыли врачи, и в какой-то определенный день они собрались все вместе и завладели всем домом. Так продолжалось часа два, когда дом принадлежал тайному совету и его ассистентам и когда мы как бы больше ничего не могли сказать. Но сразу после отъезда они потеряли всякий интерес, прибывали только по одному, как бы из чистой вежливости, чтобы выкурить сигарету и выпить стакан портвейна. И между тем тамап умерла.

Ждали только единственного брата тамап, графа Кристиана Брахе, кто, о чем уже упоминалось, длительное время находился на турецкой службе, где он, как всегда говорили, весьма преуспел. Он приехал утром в сопровождении иностранного слуги, и меня удивило, что он оказался выше отца ростом и, по-видимому, старше. Они тут же обменялись несколькими словами, как я полагаю, относительно тамап. Наступила пауза. После чего мой отец сказал: «Она очень изменилась». Я не понял этого выражения, но меня пробрал озноб, когда я это услышал. У меня создалось впечатление, что моему отцу пришлось перебороть себя, когда он это говорил. И прежде всего, пожалуй, перебороть свою гордость, страдающую от того, что он это допустил.

* * *

Лишь много лет спустя я снова услышал о графе Кристиане. Услышал в Урнеклостере и услышал от Матильды Брахе, с пристрастием говорившей о нем. Однако я уверен, что отдельные эпизоды она передавала весьма своеобразно: в обществе и даже в семье о нем ходили только слухи, слухи, и сам он никогда их не опровергал, и поэтому жизнь моего дяди безгранично широко толковалась. Теперь он – владелец Урнеклостера. Но никто не знает, живет ли он там. Может быть, он все еще путешествует, по своему обыкновению; может быть, весть о его смерти находится все еще в пути из какого-то самого крайнего континента, написанная рукой его иностранного слуги на плохом английском или на каком-то неизвестном языке. Может быть, слуга не подаст никаких знаков о себе, когда однажды останется один. Может быть, они оба уже давно сгинули и значатся только в списках пассажиров какого-то пропавшего без вести корабля, да и то не под собственными, а под чужими именами.

Правда, если в те дни в Урнеклостер въезжала какая-нибудь карета, я всякий раз ожидал увидеть, как из нее выйдет *он*, и мое сердце начинало по-особенному биться. Матильда Брахе уверяла: это так в его духе, приехать и вдруг оказаться здесь, когда меньше всего считают, что это возможно. Он так и не приехал, но вся сила моего воображения целыми неделями тратилась на него одного, и я жил с чувством, как если бы мы установили друг с другом связь и я легко и охотно узнавал о нем кое-что достоверное.

Когда же со временем мой интерес переместился и, вследствие известных событий, целиком перекинулся на Кристину Брахе, я, как ни странно, не старался хоть что-то узнать про обстоятельства ее жизни. Напротив, мне не давала покоя мысль, висит ли ее портрет в картинной галерее. И желание, прочно засевшее, так односторонне меня захватило и так мучило, что я несколько ночей кряду не спал, пока наконец, совсем не гадая, подходящая ли ночь, видит Бог, встал и пошел наверх со свечой, и она, казалось, дрожала от страха.

Что касается меня, то я не думал о страхе. Я вообще не думал; я шел. Высокие двери играючи распахивались передо мной и высоко надо мной; комнаты, через которые я шел, дер-

жались спокойно. И наконец по глубине, повеявшей на меня, я догадался, что вступил в галерею. На правой стороне почувствовал окна, до края полные ночью, а слева, стало быть, располагались портреты. Я поднял мою свечу высоко, как мог. Да, там располагались портреты.

Сначала я собирался просмотреть только женщин, но потом узнал одного и другого, похожих на тех, чьи портреты висели в Ульсгарде, и когда подсвечивал их снизу, они шевелились и тянулись к свету, и мне казалось бессердечным хотя бы ради этого немного не повременить. Я узнал все того же Христиана IV⁶⁶ с красиво заплетенной косицей и с широкими, медленно закругленными щеками. Тут находились, наверное, его жены, но я узнал только Кирстину Мунк⁶⁷; и вдруг на меня взглянула Эллен Марсвин⁶⁸, недоверчивая в своем вдовьем одеянии и с ниткой жемчуга на полях высокой шляпы. Тут были дети короля Христиана: все свежей и свежей от новых жен, «несравненная Элеонора»⁶⁹ на белом иноходце в свое самое блестящее время, до испытания. Гильденлеве: Ханс Ульрик⁷⁰, о ком испанские женщины говорили, что он поддурманивается, таким полнокровным он выглядел, и Ульрик Христиан⁷¹, кого, если увидел однажды, уже не забудешь. И почти все Ульфелды⁷². И этот, с глазом, замазанным черным, может быть, Хенрик Хольк⁷³, кто в тридцать три года стал рейхсграфом и фельдмаршалом – а получилось так: по дороге к девице Хиллеборг Крафзе ему приснился сон, что он обручится не с невестой, а с мечом, и он принял сон близко к сердцу, и повернул назад, и начал свою короткую дерзновенную жизнь, увы, оборванную чумой. Вот все, кого я знал. Посланники конгресса в Нимвегене⁷⁴ тоже имелись у нас в Ульсгарде, немного похожие друг на друга, потому что все они рисовались сразу, с узкими, несколько озадаченными, больше похожими на брови усиками, почти зрящими ртами. То, что я узнал герцога Ульриха⁷⁵, понятно само собой, и Отте Брахе⁷⁶, и Клауса Даа⁷⁷, и Стена Розенспарре⁷⁸, последнего в своем роду; потому что я видел портреты их всех в зале Ульсгарда или в старых папках с гравюрами на меди, где они изображены.

Но, кроме того, оказалось много тех, кого я никогда не видел; мало женщин, но были и дети. Моя рука давно устала и дрожала, но я снова и снова поднимал свет, чтобы разглядеть детей. Я понимал их, маленьких девочек, тех, что держали на руке птицу и о ней забывали. Иногда у них в ногах сидела маленькая собака или лежал мяч, а рядом на столе красовались фрукты и цветы. А позади, на колонне, висел маленький и неокончательный герб Грубе или

⁶⁶ Христиан IV (1577–1648) – король Дании и Норвегии (1588–1648).

⁶⁷ Кирстина Мунк (1598–1658) – вторая морганатическая жена Христиана IV, мать двенадцати его детей.

⁶⁸ Элен Марсвин (1572–1649) – подруга Христиана IV, мать Кирстины Мунк.

⁶⁹ «Несравненная Элеонора» – Леонора Христина (1621–1698), дочь Христиана IV и Кирстины Мунк; в 1663–1685 гг. была заключена в Голубую Башню королевского замка в Копенгагене.

⁷⁰ Тильденлеве (бука. Золотые львы) – официальная фамилия, данная многим незаконным детям Христиана IV. Ханс Ульрик (1615–1645) – морской офицер и государственный деятель, был при испанском дворе с дипломатической миссией.

⁷¹ Ульрик Христиан (1630–1658) – отличился на службе в армиях Испании и Франции, где был начальником штаба у принца Луи II Конде (1621–1686). В 1655 г. произведен в генерал-майоры, стал главным военным советником своего единокровного брата Фредерика III.

⁷² Ульфелды – дети Леоноры Кристины и ее мужа, графа Корфитца Ульфелда.

⁷³ Хенрик Хольк (1599–1633) – датский наемник; весьма отличился на службе у протестантов в Тридцатилетней войне при герцоге Христиане Брунсвике; в 1630 г. стал перебежчиком и служил в императорской армии; был начальником штаба у Валленштейна, которому тот более всех доверял; прославился не только храбростью и воинским искусством, но и зверствами при опустошении сел Саксонии в кампании 1633 г.

⁷⁴ Неймеген (Nijmegen), город, в котором были подписаны исторические мирные договоры 1678–1679 гг., положившие конец Голландской войне (1672–1678). Рильке использует датское название города (Nimwegen).

⁷⁵ Герцог Ульрик (1611–1633) – третий и самый любимый сын Христиана IV и королевы Анны Катрин; служил офицером у короля Швеции Густава Адольфа в Тридцатилетней войне; убит пулей снайпера во время перемирия.

⁷⁶ Отте Брахе (1579–1611) – датский офицер, убитый при осаде Кольмара.

⁷⁷ Клаус Даа (1579–1641) – датский адмирал и государственный деятель.

⁷⁸ Стен Розенспарре (1588–1612) – датский офицер, убитый в битве при Скьелинге через несколько дней после своей помолвки.

Билле, или герб Розенкранца. Вокруг них много всего насобирали, как если бы количество то ли возмещало ущерб, то ли улучшало породу. Но они просто стояли в своих платьях и ждали; сразу замечалось, что они ждали. И тогда я снова подумал о женщинах и о Кристине Брахе, и смогу ли я ее узнать.

Я решил быстро пробежать до конца галереи и оттуда возвращаться и искать, но сразу на что-то наткнулся. Я так резко повернулся, что маленький Эрик отскочил и прошептал: «Поосторожней со своей свечой».

«Ты здесь?» – спросил я, затаив дыхание и без всякой ясности, хорошо это или совсем-совсем плохо. Он лишь засмеялся, и я не знал, чего ждать. Пламя свечи неровно трепетало, и я едва мог толком разглядеть выражение его лица. Конечно же, плохо, что он оказался здесь. Но тут он сказал, подойдя ближе: «Ее портрета здесь нет, мы все еще ищем ее наверху». Вполголоса и подвижным глазом он отсылал куда-то наверх. И я понял, что он имел в виду землю. Но вдруг мне пришла в голову странная мысль.

«Мы? – спросил я. – Она ведь наверху?»

«Да», – кивнул он и подступил вплотную ко мне.

«Она ищет тоже?»

«Да, мы ищем».

«Выходит, ее убрали, ее портрет?»

«Да, представь себе», – сказал он возмущенно. Но я не совсем понял, чего она в таком случае хочет.

«Она хочет себя видеть», – прошептал он совсем близко.

«А-а!» – я притворился, что понял. И он тут же задул свечу. Я успел лишь увидеть, как он подался вперед, в светлое пятно, и его вздернутые кверху брови. И стало темно. Я невольно отшагнул.

«Ты что делаешь? – закричал я сдавленно, и в горле у меня пересохло. Он подскочил ко мне и повис на моей руке и захихикал. – Ты что?» – напустился я и хотел его стряхнуть, но он висел прочно. Я не смог помешать, чтобы он своей рукой не обвил мою шею.

«Сказать тебе?» – зашипел он, и немного слюны брызнуло мне в ухо.

«Да, да, сейчас же».

Я не соображал, что говорю. Он уже обхватил меня и при этом вытянулся во весь рост.

«Я принес ей зеркало», – сказал он и снова хихикнул.

«Зеркало?»

«Да, потому что портрета здесь нет».

«Нет! Нет!» – отшатнулся я.

Вдруг он потянул меня подальше, к окну, и ущипнул в предплечье так резко, что я вскрикнул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.